

ВЛАДИМИР ШУБИН

БАВАРСКИЕ ШТРИХИ

ВЛАДИМИР ШУБИН

БАВАРСКИЕ ШТРИХИ



ВЛАДИМИР ШУБИН

БАВАРСКИЕ ШТРИХИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

и

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ



ImWerdenVerlag
München
2023

Шубин В. Ф. Баварские штрихи. Исторические заметки и прозаические опыты. Мюнхен: Imwerden. 2023. с. 264

Сборник «Баварские штрихи» объединяет заметки и эссе о сюжетах баварской истории, а также включает в себя два рассказа. Одной из связующих нитей становится тема русских путешественников и эмигрантов в Баварии. Затрагиваются также страницы из времен III рейха. Отдельный цикл посвящен королю Людвигу II и посмертной мифологизации его образа.

В основе некоторых материалов — архивные разыскания автора и немецкие печатные источники, не публиковавшиеся на русском языке.

ISBN 978-1-4475-4027-4

© Владимир Шубин (Vladimir Fedorovic Schubin, München) – текст, 2023

© Анастасия Шубина (Anastasia Schubina, München) – оформление, 2023

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

All Heil!	7
Был такой Бухало...	17
Пушкин в Мюнхене	34
«Неизбежный Тургенев»	44
Рай «Тегернзее»	51
Праздничное начало дня	80
Дунай сын Иванович	
<i>Сюрпризы топонимики</i>	101
III РЕЙХ	
Мими и Вольф	
<i>Альпийская быль</i>	125
Семейный портрет в интерьере III рейха	129
История столяра, в одиночку спасавшего мир	143
ЛЮДВИГ	
<i>Предисловие</i>	169
Чайковский и Нойшванштайн	
<i>В поисках Лебединого озера</i>	170
Альпийский Марли	
<i>От Людовика-солнца к Людвигу-луне</i>	181
Баварский Диснейленд	
<i>От Людвиг-луны к Людвигу-сказке</i>	191
«ОСТОРОЖНО, ЛИСТОПАД!»	
<i>Опыты в прозе</i>	
Там, над Дунаем...	199
Невский сплин	224
<hr/>	
Именной указатель к разделу «Исторические заметки»	257

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ALL HEIL!

Моим друзьям-велосипедистам

В июле 1896 года в Мюнхен приехали два начинающих художника — Дмитрий Кардовский и Игорь Грабарь. С вокзала направились в гостиницу, а оттуда к дальнему знакомому, которого им рекомендовали как знатока мюнхенских реалий и возможного опекуна на первое время. Немолодой человек, родом из Измаила, давно уже жил в Мюнхене и водил дружбу с местными художниками. Россиян он встретил радушно, но в права опекуна вступил с некоторой категоричностью. Во-первых, он и слышать не хотел, чтобы те поступали в известную рисовальную школу Холлоши и взялся тотчас отвести их к «„маленькому Ажбе“»: его школа лучшая и сам он лучше всех и как педагог, и как человек». Во-вторых, он строго поинтересовался, есть ли у молодых людей велосипеды. И, увидев растерянность на лицах, «заявил с великолепной безапелляционностью: Надо непременно приобрести». Грабарь надолго запомнил эту сцену и описал в мемуарах.

— Для чего?

— Как для чего? Да разве художник может жить без велосипеда?

— А почему же нет?

— Без велосипеда он шагу ступить не может, никуда за город поехать: нет ни одного художника во всем Мюнхене, у которого не было бы стального коня.

— Для этого много денег нужно иметь, а у нас нет...

— Пустяки, приобретете в рассрочку на целый год, не заметите, как платите, а зато уж и наслаждение. Нет, нет, это дело конченное, я вам все устрою.

Своей быстротой и решительностью он нас прямо гипнотизировал. Мы поступили так, как он хотел: отправились к Ажбе, а затем завели велосипеды.

Полгода спустя в Мюнхене появляются Марианна Веревкина и Алексей Явленский. Позже к ним придет европейская слава, а тогда они были просто подающими надежды учениками студии Репина. Опекунами новоприбывших выступают два мюнхенца с «солидным» стажем — Грабарь и Кардовский, они отводят начинающих художников к Ажбе и, как само собой разумеющееся, объясняют, где и как следует приобрести велосипеды. Почти в то же время из Москвы приезжает Василий Кандинский. Новоиспеченный юрист оказался во власти «безнадежной любви к живописи» и, отбросив планы научной карьеры, отправился в Мюнхен. Надо ли говорить, что вскоре и Кандинский появился в рисовальных классах Ажбе и не только услышал, но и свято уверовал, что в искусстве дорога без велосипеда ведет в никуда...

Грабарь вспоминает: «После школы мы обедали, а после обеда уезжали на велосипедах за город». Посещали пригородные королевские дворцово-парковые усадьбы Нимфенбург, Шляйсхайм, ездили в соседний Английский парк, растянувшийся от центра города на километры.

И не только в Мюнхене закрутился этот вихрь, напоминавший два одновременно вращающихся солнца. В Барселоне художник Рамон Касас не расстается с велосипедом ни на улице, ни на холсте — изображает себя вместе с приятелем верхом на тандеме и сам позирует коллеге-живописцу, стоя рядом со своим двухколесным спутником.

Девятнадцатый век, 90-е годы — время, вошедшее в историю как велосипедная эра.

К тому времени уже несколько десятилетий человек пытался поудобнее устроиться на двухколесном агрегате. Вопрос, кто и когда его изобрел, звучит исторически некорректно. Как и многие шедевры техники, велосипед «сложился» как продукт коллективного труда, пройдя путь от опытных конструкций изобретателей-одиночек до профессиональных моделей. Он не родился в один момент, а вызревал десятилетиями. И вот, когда, наконец, добродил и дозрел, как хорошее баварское пиво, перестал отдавать суррогатом доморощенной сборки, то из разряда движущихся диковин, от вида которых не только люди начинали крепиться, но и лошади шарахались в сторону, был медленно, правда, не без болезненных эксцессов, принят в категорию «транспортных средств». Тут и сами пионеры-велосипедисты с облегчением перекрестились и сразу развили бурную деятельность — стали еще демонстративнее кататься на виду у пешеходов и лошадей, а некоторые и вообще распоясались — начали ездить на работу, в керосиновую лавку, на любовное свидание и даже на явные и тайные собрания партийных ячеек, а те, кому все-таки доставалось на улице лошадиной вожжой, бросились создавать велосоюзы и общества для отстаивания своих прав.

Даже древний уклад спокойного, размеренного и несуетливого потребления пива стал, к изумлению многих баварцев, меняться. Сначала (уже в 1883 году!) велосипедисты на своих железяках принялись собираться на пивном празднике Октоберфест. И для чего? Чтобы продемонстрировать, кто быстрее одолет несколько ненужных кругов. Потом, что еще хуже, они начали требовать, чтобы пиво им подавалось наполовину разбавленным водой! Они, видите ли, сейчас на колесах! Завсегдатаи пивных с тяжелыми кружками в руках только покачивали головами и говорили сквозь зубы: *Radler!* (колесный, на колесах).

Шутки шутками, но эти *радлеры* действительно некоторых раздражали, а позднее, с приходом нацистского взгляда на вещи, даже появилась новая форма зубоскальства: встречаю тут одного типчика... неприятный такой, то ли иудей, то ли радлер...

Моральный ущерб велосипедному сообществу был нанесен в годы «наци» и иным обстоятельством. Еще на заре велосипедизма среди «радлеров» закрепилось своего рода цеховое приветствие «аль хайль!» (*All Heil!*), что можно трактовать как «всех благ!» или «всем здравия!». Однако с конца 1920-х годов бодрый баварец с высоты своих двух колес уже не решался по старой традиции выкрикивать его, махая ручкой встречным. Во времена, когда страну воодушевляли иступлённые крики «зиг хайль!» и «хайль Гитлер!», все созвучное уже воспринималось неполиткорректным.

Но во времена упомянутых замечательных художников, а именно в 1890-1900-е годы, доброжелательное «аль хайль» оставалось у велосипедистов и на слуху, и на языке, и, надо полагать, не обошло стороной и наших соотечественников.

Итак, времена велосипедной эры и велосипедной мании. В предшествующее десятилетие велосипед приобретает конструктивную форму, которая в общих чертах сохранилась до нашего времени. К началу 1890-х на нем появляются надувные шины, и конструкция перестает изматывать организм постоянной тряской. Распространенное на многих языках прозвание *костотряс* вскоре забывается, французское *Velocipede* перенимается иностранными языками, в том числе и немецким, но ненадолго — у германцев вскоре рождается собственное слово: *Fahrrad*. И если в 1882 году в стране было произведено 2 500 «фаррадов», то в 1897-м уже 350 000.

Двухколесное чудо полюбило среднее сословие, аристократы — тоже, но они ограничивались катанием в парках или усадьбах и уж никак не ездили верхом на велосипеде на бал, в

театр или на прием к королю. С велосипедом смирились мюнхенские лошади — тем более, что на улицах стал появляться еще более страшный монстр: рычащий и выпускающий отвратительные газы автомобиль. И подлинным любимцем велосипед стал в художественной, артистической, богемной среде.

Кандинский, задержавшийся здесь на многие годы, кажется, с ним не расставался — выезжал в пригороды, на берега реки Изар, в глухие уголки Английского парка, а когда открыл собственную рисовальную студию, то вместе с учениками совершал дальние поездки за город. Велосипеды можно было сдавать в багажный отсек поезда, и это давало возможность Кандинскому устраивать уроки рисования в альпийском предгорье — вокруг полюбившихся Кохеля и Мурнау.

В Мюнхене все упомянутые, как и не названные мной русские художники, люди разных сословий и возраста, среди которых были будущие знаменитости или просто увлеченные любители, преимущественно поселялись в Швабинге. Об этой городской окраине той поры писали и вспоминали многие из них. Василию Кандинскому Швабинг виделся «духовным островом в огромном мире», где на каждом шагу бросался в глаза человек с палитрой, холстом или папкой с рисунками под мышкой; там все рисовали, в противном случае сочиняли стихи, музицировали или учились танцевать...

И, конечно, ездили на велосипедах. Тем более, что Швабинг только лишь начинал срастаться с Мюнхеном и был больше похож на полудеревню-полугород, где велосипед оказывался особенно удобен. К тому же был в моде. Но стоил недешево, и потому не всякий мог себе позволить такое удовольствие.

Например, молодой доктор Иорданов, который прожил в Швабинге около двух лет. Тот же Кандинский, вне сомнений, не раз сталкивался с ним на улицах, может, притормаживал или объезжал задумчивого пешехода, а возможно, и демонстративно

обгонял, нажимая на педали и подумывая про себя: «экий, однако, этот господин индюк...» Кандинский ведь не ведал, что пешеход — русский и к тому же именно в это время и именно в Швабинге высекает искру грядущей революции. Как и доктор Иорданов, обдумывавший очередную статью для тайно печатавшейся в этой полудеревне газеты «Искра», не знал, что велосипедист — из России и что он будущий Кандинский, и, может быть, просто сквозь зубы бормотал: «экий, однако, радикал...»

Фамилия «Иорданов» служила прикрытием нелегалу, сменившему к тому времени множество партийных кличек и псевдонимов. И как раз в Швабинге он придумал себе новое имя, с ним окончательно и утвердился в истории: Ленин. (Представляете, как чудно могло бы звучать: «Иорданов живее всех живых»...)

Признаюсь, обратив внимание на то, что велосипед в мюнхенском быту Ленина не упоминается, я не очень удивился: это обстоятельство вписывалось в трафаретный для меня образ человека, погруженного в эмоциональный мыслительный процесс. Где, как не на неспешной прогулке, мысленно метать реплики в адрес оппонентов, оттачивать риторику и собственные суждения... Со временем понял, что не совсем прав: велосипедная езда также может прекрасно сочетаться с характером взрывного, революционного мышления — об этом чуть позже; что же касается отсутствия у Ленина и Крупской велосипедов в Швабинге, то оно объяснялось их дороговизной. К счастью, у будущего вождя была любящая и чуткая мать, она-то позже и подарила им новенькие велосипеды. Радостное событие произошло на берегу Женевского озера. Подарок был заказан в Берлине и выслан почтой. Когда Ленин увидел огромную посылку, то огорчился, думая «что вернулась какая-либо нелегальщина, литература», но потом, разумеется, страшно обрадовался. Хвастаясь новинкой перед Бонч-Бруевичем, «подкачивая шины и подтягивая гайки на винтах», вскрикивал: «Смотрите, пожа-

луйста, какие чудесные велосипеды! Ай да мамочка! Вот удружила!» Правда, некоторое время спустя он появился на съезде Лиги российской социал-демократии бледный, с подбитым глазом и ушибами. Перед тем как-то неудачно пересекал трамвайные пути — упал лицом, зашиб руку... И дальнейшие годы его швейцарской и парижской эмиграции оказались наполнены как радостями, так и огорчениями, которые дарит человеку двухколесная езда.

Однако из всех занимательных велоисторий тех времен, имеющих отношение к «русскому» Мюнхену, более всего меня поразила пережитая и рассказанная Кузьмой Петровым-Водкиным. Сыну сапожника и бывшей крепостной, учившемуся живописи и подрабатывавшему на гончарном заводе, разве только во сне могла пригрезиться возможность увидеть европейские музеи и выставки, рисовальные школы и студии. Но все дело решил велосипед! У витрины одного из магазинов в Москве, где было выставлено это чудо, мечтателя осенила, прямо скажем, нетривиальная идея: уговорить продавца бесплатно или за символическую цену отдать свой товар для велопробега аж в самую Европу; взамен тот получал громкую рекламу. Маршрут был задуман дерзкий: Москва — Варшава — Бреславль — Прага — Мюнхен — Генуя! «После нескольких несообразительных торговцев, — рассказывал Петров-Водкин, — попал я на представителя одной немецкой фирмы, который меня понял, и за 25 рублей проката я получил великолепной прочности дорожный, оборудованный багажником, велосипед».

1901-й год: будущему именитому художнику неполные 23 года, Остап Бендер еще не появился на свет. На роль Шуры Балаганова был приглашен еще более молодой и не менее склонный к авантюрным приключениям приятель, некий Володя. Для него раздобыли подержанный велосипед, тут же получивший прозвище «Прялка Маргариты». Он отличался непривычно вы-

сокой рамой, и Шура-Володя смотрелся на нем «перелезающим через забор» и уж во всяком случае не был похож на тронувшую сердце Фауста простодушную Гретхен. В присутствии газетчиков молодые люди вскоре стартовали на Серпуховской заставе.

Представления о велосипедных путешествиях уже захватывали воображение молодежи и совсем юного поколения рубежа веков. Писатель Юрий Олеша, появившийся на свет в 1899 году, вспоминал о «самом ярком мечтании» детства и гимназических лет — «купить велосипед, поехать за границу...» Может быть, он прочитал роман Герберта Уэллса, вышедший за три года до его рождения? Роман назывался «Колеса Фортуны», и речь в нем шла уже не о гипотетической «Машине времени» (предыдущее произведение Уэллса), а о входящем в быт реальном продукте технической цивилизации, на котором его герой и отправляется в путешествие по Южной Англии. Но за пределами романа велосипед в философском восприятии великого фантаста начинает как раз выполнять одну из функций машины времени: он прокладывает его поколению дорогу в грядущее. Уэллсу не без основания приписывается крылатое изречение: «Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я не испытываю отчаяния за будущее человеческого рода». Не с подобными ли мыслями сел в 1895 году на седло велосипеда 67-летний Лев Толстой?

А если ненадолго вернуться к Ленину, который, по воспоминаниям Троцкого, сетовал, что в разгар революции приходится тратить время на беготню по длинным коридорам Смольного и неплохо бы использовать для этого велосипеда, можно догадаться: им с Уэллсом нашлось о чем поговорить на известной встрече в Кремле в 1920 году — не только о вызывавших разногласия путях классовой борьбы.

В судьбе их поколения становление велосипеда сыграло, может быть, до сих пор не до конца оцененную роль. Оно знаменовало для человека прорыв — технический, социальный, пси-

хологический... О том говорит и сложившаяся поговорка, иронизирующая над всеми, кто пытается «заново изобретать велосипед». Великими усилиями он уже создан. До него появились паровоз, сразу после него — автомобили и самолеты, но это были *машины*, в то время как человек на велосипеде *сам* заменял двигательный агрегат. И это детище смекалки и рук помогло ему, наконец, самостоятельно преодолеть силу притяжения, оторваться от земли-матушки, научиться чувствовать баланс, заново оценить свою мускульную и душевную энергию, оно наполняло свежим воздухом легкие и вызывало прилив гордости и уверенности.

Когда известный своими парадоксальными суждениями философ Василий Розанов в 1905 году увидел мюнхенских велосипедистов, он даже усмотрел в их житейской радости один из признаков «победы над католицизмом», в той его части, которая изначально обходила вниманием «великое и серьезное содержание будничной жизни».

Я бы осмелился поставить вопрос шире: не явился ли велосипед в этом контексте не только признаком, но и pedalным двигателем в развитии общества? И не пора ли с этой точки зрения взглянуть на его роль в прорыве Кандинского к новому видению искусства, а Иорданова-Ленина к революционным идеям переустройства «мира насилия»? Ну а то, что велосипедная езда способна приносить не одни радости, но и синяки, и даже увечья, как едущему на нем, так и окружающим, всего лишь отражает дуализм, лежащий в основе мироздания.

Не знаю, рассказал ли тогда Ильич Уэллсу об уральском крепостном Ефиме Артамонове. Тот еще в 1801 году, первым в мире, не только смастерил «двухколёсный цельнометаллический велосипед», но и приехал на нем из родного поселка на коронацию государя в Москву. Уэллса эта история восхитила бы как фантаста и озадачила как реалиста. У нас она многие десятиле-

тия оставалась предметом гордости и только недавно оказалась развенчана. Но не стоит расстраиваться: легенда и сама псевдоконструкция Артамонова родились в конце XIX столетия, и эта фальсификация по-своему замечательно отражает радость, вдохновение, порыв фантазии и энтузиазма, которые вдохнул тогда в человечество золотой век велосипеда.

И все же — одно дело ехать к царю-батюшке на диковине, которой еще не существовало, мечтать о путешествии на велосипеде в Европу, как одесский юноша Юрий Олеша, разъезжать на нем по Англии на страницах романа Герберта Уэллса, и совсем иное — взять и отправиться с Серпуховской заставы в вояж «Москва — Генуя»... Об этом необычном и полном приключений путешествии можно прочитать в книге Петрова-Водкина «Пространство Эвклида». Я же ограничусь в пересказе тем, что после длинного пути через Восточную Европу, уже на немецкой земле, «Прялка Маргариты» развалилась, и благородный Петров-Водкин уступил товарищу, который не на шутку вжился в образ велосипедного фаната-путешественника, своего потрепанного, но все еще надежного немецкого друга, а сам, без денег и с новыми приключениями, поездом стал добираться до Мюнхена.

В Швабинге сердобольные соотечественники, услышав его рассказы о велосипедных скитаниях, объявили подписку по сбору средств для его пропитания, а добрый сердцем Ажбе любезно разрешил посещать студийные занятия бесплатно. Что же касается спутника Петрова-Водкина, то некоторое время спустя и он докатил до Мюнхена и после короткой передышки продолжил путь в сторону Генуи. И пока крутил педали по немецким весям, незнакомые собраты по двухколесному цеху кричали ему свое «аль хайль!», и он махал им рукой и улыбался в ответ.

БЫЛ ТАКОЙ БУХАЛО...

Биография этого человека до недавнего времени напоминала тетрадь с вырванными страницами. Несколько сохранившихся листков охватывали короткий отрезок времени: 1907-1913 годы. В пространстве *до* и *после* расплывались белые пятна. Источником сведений были «Воспоминания террориста» Бориса Савинкова, а также найденные исследователями отдельные факты и упоминания в партийных архивах социалистов-революционеров (эс-эр)*. Савинков поведал невероятную на первый взгляд историю о жившем в Мюнхене русском конструкторе-одиночке Сергее Ивановиче Бухало. В 1907 году тот взялся построить аэроплан, по техническим возможностям далеко опережающий свое время. Бухало изучал законы воздухоплавания, делал расчеты, продумывал конструктивные детали и пришел к уверенности, что готов создать машину, способную подниматься на большую высоту, преодолевать со скоростью 140 километров в час огромные расстояния, нести большой груз, быстро снижаться... Путешествие от пункта А к пункту Б и обратно, непосильное аппаратам-предшественникам.

Пунктом А становилась мюнхенская окраина под названием Мозах (Moosach), заброшенное, как представляется, крестьянское поле, возле которого инженер Бухало арендовал под свою мастерскую ангар или сарай. Под пунктом Б (по-видимому, с

* Савинков Б.В. Избранное. М. 1990; Морозов К.Н. Борис Савинков. Опыт научной биографии. М. 2022; Чернов В.М. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб. 2007.

промежуточными остановками) подразумевался далекий Санкт-Петербург, а если точнее — Зимний дворец или одна из загородных резиденций: в зависимости от того, где к этому моменту будет находиться его императорское и самодержавное величество Николай II. Именно там аэроплан Бухало должен неожиданно вынырнуть из облаков, сбросить на крышу динамит и снова скрыться в небе, взяв курс за пределы Российской империи. По предварительным расчетам, «подъемная сила позволяла сделать попытку разрушить весь Царскосельский или Петергофский дворец. Высота подъема гарантировала безопасность нападающих».

Мы сказали бы — истребитель, он же бомбардировщик. Но на дворе 1907 год. Аэропланы той поры с улыбкой называют «летающими этажерками», и одной из них, Flyer III, сконструированной братьями Райт, в октябре 1905 года удалось со скоростью 58 км/час преодолеть расстояние немногим более 39 километров; и это были первые серьезные шаги на пути к управляемому полету...

Из воспоминаний Савинкова известно, что Сергею Бухало было в это время около сорока лет, за его плечами имелся опыт разработок и изобретений «в минном и артиллерийском деле». Но в последние годы, когда на его глазах стала сбываться мечта человека о «механических полетах», им и овладела идея постройки аэроплана. Инженер с головой погрузился в расчеты и конструкторские схемы.

В середине 1900-х наступил час, когда изобретатель понял, что от теории готов перейти к практике. И именно в это время судьба принесла ему знакомство с Евно Азефом. Впрочем, Бухало мог узнать его и под другим именем. Подпольщик-террорист, возглавлявший Боевую организацию эсеров — БО, имел, как и полагалось, джентльменский набор партийных кличек.

Знакомство происходит в Мюнхене в декабре 1906 года. Первое впечатление Азефа: «по способностям человек незаурядный». Однако доводы и рассуждения конструктора принимает не на веру, а только после ознакомления с «литературой предмета и теорией вообще». Изобретения, открывавшие новые пути для террористических атак, воспринимались с энтузиазмом. Азеф уже носился с идеей применения подводной лодки, теперь на горизонте прорисовывался воздухоплавательный агрегат с невиданными доселе возможностями.

Самого изобретателя мысли об использовании его детища для кровавой расправы с самодержцем совершенно не смутили. «Бухало по убеждениям скорее анархист, — рассказывал Азеф Савинкову, — но он готов отдать свое изобретение всякой террористической организации, которая поставит себе целью царевубийство».

Строительство аэроплана требовало немалых денег и времени, и это тоже, судя по всему, входило в тайные расчеты Азефа: как террорист-новатор он мечтал о новых методах и средствах политической борьбы, но как тайный агент царской охранки понимал, что втягивает свою БО в проект, на котором она будет какое-то время буксовать — вхолостую тратить средства и терять время. Кажется, с одинаковым энтузиазмом он умудрялся отдавать силы и энергию как террору, так и служению Охранному отделению.

В провокаторстве Азефа уличили чуть позже, а пока, после знакомства с инженером Бухало, он, человек с безупречным авторитетом и доверием в революционной среде, поспешил во Францию к своему соратнику Борису Савинкову. Тот вспоминал позднее:

Я слушал слова Азефа как сказку. Я знал об опытах Фармана, Делагранжа и Блерио, знал и о том, что в Амери-

ке братья Райт достигли в воздухоплавании крупных успехов. Но аппарат, развивающий скорость в 140 кил. в час и поднимающий на любую высоту большой груз, казался мне несбыточной мечтой. Я спросил:

— Ты сам проверял чертежи?

Азеф ответил, что он в последнее время специально изучал вопрос о воздухоплавании и сам проверил все формулы Бухало.

Тогда я сказал:

— Ты веришь в это открытие?

Азеф ответил:

— Я не знаю, сумеет ли Бухало построить свой аппарат, но задача, повторяю, в теории решена верно. Нужно рискнуть. Риск только в деньгах. Нужно только тысяч двадцать. Я думаю, что на это дело можно и должно рискнуть такой суммой.

Азеф тут же развил план террористических предприятий с помощью аппарата Бухало... Террор, действительно, подымался на небывалую высоту.

Деньги были найдены, и вскоре в мастерской Бухало в пригороде Мюнхена Мозах стали появляться необходимые инструменты, материалы, засуетились рабочие-помощники, был доставлен и выписанный из Франции мотор марки «Антуанетте». Первое время Сергей Иванович поглядывал на него с благоговением, сдувал пылинки... но очень скоро убедился, что «Антуанетте» оказалась «дамой» капризной и, судя по всему, потребуется большая работа, прежде чем она начнет отвечать ему взаимностью.

Несколько месяцев спустя в Мюнхен наведывается Савинков.

Я посетил Бухало в его мастерской, в Моссах около Мюнхена. За токарным станком я нашел еще не старого человека лет 40, в очках, из-под которых блестели серые умные глаза. Бухало был влюблен в свою работу: он затратил на нее уже много лет своей жизни. Он принял меня

очень радушно и с любовью стал показывать мне свои чертежи и машины. Подойдя к небольшому мотору завода Антуанетт, он сказал, хлопая рукой по цилиндрам:

— Привезли его. Я обрадовался. Думал, у него душа. А теперь пожил с ним, вижу — просто болван. Придется его переточить у себя...

От каждого его слова веяло верой в свой аппарат и упорной настойчивостью. О революции он говорил мало, с пренебрежением отзывался о нелегальной литературе и отмечал многие, по его мнению, ошибки в тактике партии. Зато террор он считал единственным верным средством вырвать победу из рук правительства. Уезжая из Мюнхена, я уносил с собой если не веру в ценность его открытия, то полное доверие к нему. Я был убежден, что он использует в своем деле все, что могут дать наука, дарование и опыт...

В более восторженных интонациях свои впечатления об этой поездке Савинков пересказал Вере Фигнер, которая была уже слышана о мюнхенском изобретателе от Азефа. «Я полечу на этом аэроплане», — убежденно говорил ей Савинков. Еще одним пассажиром намеревался стать Григорий Гершуни. Один из основателей БО, он отказывался верить в предательство Азефа и полагал, что оклеветанный и потому скрывшийся в неизвестном направлении товарищ по партии вернется, сядет с ним в аппарат Бухало и с грузом динамита полетит в Петербург, и тем самым, уверял своих соратников Гершуни, «мы восстановим его честь».

Не без улыбки представляется, как мужественные эсеры подлетают к Зимнему дворцу, на крыльях их аэроплана большими буквами выведено краской грозное «БО», Азеф лично сбрасывает пакеты с динамитом, прицеливаясь на глаз (а как еще в те времена?) к той части резиденции, где могла находиться священная особа государя...

Трудно отделаться от ощущения, будто читаешь страницы авантюрно-приключенческой книжки. Но и реальные биографии

персонажей этой истории в избыточной мере содержат все признаки увлекательного жанра: героизм, в том виде, в каком они его понимали, отчаянную, бескомпромиссную борьбу (заговоры, покушения, громкие политические убийства), тайны, загадки, предательства (Азеф). К этому добавим личное мужество и фортуна: Савинкову удастся бежать из вологодской ссылки, другим побегом он благополучно избегает виселицы в Севастополе, Гершуни покидает место пожизненного заключения в Сибири внутри бочки с квашеной капустой... Дерзкие фантазии тесно переплетаются с реалиями, подпитывают друг друга и порой замещают.

Об опытах мюнхенского изобретателя были осведомлены и другие видные партийцы. Один из основателей эсеровской партии и ее теоретик Виктор Чернов позднее вспоминал: «Бухало пытался сконструировать летательный аппарат нового типа: теперь мы бы отнесли его к разряду вертолетов, и следовательно, он далеко опередил технику своего времени». Никто другой из посвященных в проект Бухало не называл его конструкцию вертолетом. Эксперименты в этом направлении велись рядом изобретателей, и в том же 1907 году двум из них удалось поднять свои агрегаты в воздух на высоту от 20 до 50 сантиметров. До демонстрации устойчиво управляемых вертолетных полетов требовалось еще полтора десятка лет. Конструирование аэропланов развивалось значительно быстрее, и связанные с ними эксперименты представлялись более реалистичными. Заметим, что сам Чернов не посещал мастерскую Бухало и дал определение конструкции как «вертолет», скорее всего, по наитию...

В любом случае, до полета аппарата Бухало было еще далеко... В конце августа 1907 года Азеф признается Савинкову, что теряет надежду: «Всплыло очень много фантастического в его работе... Свои сомнения я ему высказал и указал на целый ряд

его ошибок. При этом обнаружилось очень много у него мелкого профессионального самолюбия...»

Вспоминая события 1907 года, Савинков в уже цитировавшихся мемуарах заметил: «Работы Бухало затянулись. К августу стало ясно, что если даже он и решит задачу воздухоплавания, то не в близком будущем; в конструкции своего аппарата он встретил неожиданно затруднения».

И все же какое-то время надежда ни у конструктора, ни у его заказчиков окончательно не умирала. Почти ежедневные мировые известия об экспериментах в области авиации подпитывали как фантазии заговорщиков, так и саму одержимость изобретателя. Работы в мастерской продолжались. Разоблачение в 1908-м Азефа бросало тень на инициированные им проекты, но само по себе строительство самолета не относилось к разряду злодеяний.

Последнее упоминание об этом проекте в мемуарах Савинкова предельно лаконично: «Предприятие Бухало затягивалось». Свои воспоминания Савинков пишет по горячим следам и заканчивает в августе 1909 года. О дальнейших взаимоотношениях конструктора и лидеров эсеров известно лишь несколько штрихов.

В мае 1910 года в письме в Париж Илье Фондаминскому Бухало просит выдать «неизрасходованный остаток ассигнованной на дело суммы» и обещает через несколько месяцев представить «результат». Историки, занимавшиеся этим сюжетом, отмечают, что работы окончательно застопорились и перестали поддерживаться партией в конце 1910 года. К тому времени инженер переехал в Штутгарт (предполагается, что этот переезд мог быть организован партией в целях безопасности после разоблачения Азефа). В августе 1913-го Бухало сетует в письме Савинкову: изобретения, предназначенные для России, придется предло-

жить германским промышленникам. После этого личность изобретателя покидает исторический подиум.

Вопрос, откуда и как он появился в Мюнхене и куда подевался, озадачивал. Связь с Азефом бросала тень подозрения. Некоторые из выдвинутых в свое время версий собрал в своей книге «1905 год. Прелюдия катастрофы» А. Щербаков (М. 2011). «После разоблачения Азефа в 1908 году, — цитирует он историка Ю. Кузнецова, — Бухало попросту бесследно исчезает. О таинственном самородке вообще не удается найти никаких данных, кроме слухов о его загадочном аэроплане. Человека с таким именем в природе не существовало. Сергей Иванович Бухало — это не более как миф, рожденный в недрах департамента полиции».

Но как же Савинков, который видел его и разговаривал с ним? На это тоже находится ответ: в бутафорной мастерской, оборудованной в Мюнхене, ему, полному профану в технических вопросах, просто морочил голову изображавший инженера-романтика опытный офицер царской охраны.

Рассматривает Щербаков и иную версию, принадлежащую историку авиации И. Чутко: Бухало не кто иной, как авиаконструктор Василий Слесарев. Ученик Можайского, Слесарев действительно в это время учился в Германии, но только не в Мюнхене, а в Дармштадте; к тому же едва ли он мог выглядеть «человеком лет 40», поскольку был вдвое моложе.

Загадкой осталась фигура Сергея Бухало и для автора недавней монографии об Азефе Валерия Шубинского: «В истории авиации этот человек, кажется, никак не отметился. Все сведения о нем — только из эсеровских архивов»*.

Так был ли в действительности такой Бухало?

* Шубинский В. И. Азеф. М. 2016. С. 229-231.

И если не было, его просто стоило выдумать. Именно так поступил заинтригованный личностью авиаконструктора-террориста прозаик Вячеслав Пьецух. Опираясь на немногие известные факты, писатель заполняет белые пятна его жизнеописания методами беллетриста. Он воссоздает образ исторически и психологически достоверного отпрыска своей эпохи, подверстывая выдуманные на ходу биографические детали. «Догадки» — так назван Пьецухом сборник повестей и рассказов (М. 2007), в который вошло и небольшое произведение «Бухало и террор». История, напоминая автор, полна загадок, и разгадки «вряд ли возможны, и за давностью времени, и вообще. Но догадки — это куда ни шло».

По пути догадок пошли и авторы вышедшего в 2000 году российского сериала «Империя под ударом», где в ряду периферийных персонажей появляется Сергей Бухало. Алчный Азеф недодает ему половины необходимой для работы суммы и к тому же требует закончить работы в течение трех недель, после чего конструктор просто пускается в бега с остатками денег. Примечательно, что в фильме проект смотрится менее утопичным, чем в пересказах эсеров: предполагается, что в случае успешных испытаний в Финляндии (ангар Бухало, по воле сценариста, перенесен туда из Баварии) аппарат будет доставлен по частям в Россию, где его снова соберут — в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Перефразируя Булата Окуджаву, согласимся, что вымысел в искусстве не всегда подразумевает обман. Но у нас есть повод вернуться к документальному жанру.

Так был ли в действительности такой авиаконструктор?

В 8-м номере выходившего во Франкфурте на Майне журнала «Flugsport» за 1909 год находим объявление о продаже мотора марки «Антуанетте», «совершенно неиспользованного», прода-

ваемого в связи с изменением проекта. Владелец хотел бы получить за него девять тысяч французских франков. Интересующиеся могут обращаться к С. Бухало, инженеру в Мюнхен-Мозахе.

Еще один реальный след Бухало-авиаконструктора встречаем в каталоге «Bibliography of aeronautics. 1909-1916» (Washington. 1921), где на странице 222 читаем: Buchalo, S. Statik des Fluges. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer, 1910. О существовании некоей книги, написанной Бухало по результатам расчетов, упоминается в материалах БО. Говорится, что Сергей Иванович хотел привлечь к себе внимание, получить отзывы специалистов — «и прежде всего по теоретической механике». Иные подробности оставались в тумане. Книга, как видим, действительно была написана и под названием «Статика полета» выпущена в придворной стuttgartской типографии «Грайнер и Пфайффер». На том деятельность Бухало как пионера-авиаконструктора, судя по всему, и завершилась.

Другой след, более ранний, неожиданно уводит нас в Кишинев. В апреле 1903 года на его улицах был учинен один из самых кровавых погромов в истории России. В вышедшем в 2000 году сборнике документов собраны показания очевидцев, среди которых встречается Сергей Иванович Бухало*. О себе он сообщает: «33(-х) лет, потомственный дворянин, православный, под судом не был, живу в Кишиневе, Острогская улица, № 3... служу в Бессарабской губернской земской управе делопроизводителем технического бюро». Осуждая бесчинства толпы, Бухало отмечает в показаниях провокационную деятельность единственной городской газеты «Бессарабец», возбуждавшей вражду к еврейскому населению, и особенно подчеркивает бездействие блюстителей порядка и военных, что «далеко не соответствует... тому,

* Кишиневский погром 1903 года. Сборник документов и материалов. Кишинев. 2000. С. 259-262.

на что имеет право рассчитывать общество, несущее расходы по содержанию полиции и войска в интересах закона, охраняющего личную и общественную безопасность и имущество».

Но одно ли это лицо: мюнхенский авиаконструктор-заговорщик и мирный кишиневский делопроизводитель?

Ответ на этот и некоторые другие вопросы находим в «Архивах Арользена» (Arolsen Archives) — международном центре документов о лицах, пострадавших от нацистского режима. В онлайн-каталоге встречаются упоминания нескольких людей, носивших эту фамилию (в варианте латиницы: Buchalo), восходящую к старинному типу славянских семейных имен. Это украинцы и русские, попавшие в Германию в годы Второй мировой войны на работы или оказавшиеся в плену. Среди них отыскался и герой нашего сюжета. Хотя ни к принудительным работам, ни к фронту, как выясняется, отношения не имел.

Зимой 1951 года Сергей Иванович Бухало, которому только что исполнился 81 год, обратился в Организацию по делам беженцев (IRO: International Refugee Organization), где с его слов были заполнены анкетные формуляры. Благодаря им полумифический персонаж истории русского терроризма приобрел реальные черты — питерский студент, инженер, эмигрант, семьянин, большую часть жизни так и проживший в Мюнхене*.

Пожилой человек в очках с седой «профессорской» бородкой, заостренными чертами и двумя заметными складками, расходящимися от ноздрей — таким предстает на анкетной фотографии

* Arolsen Archives. International Center on Nazi Persecution. Digital Collections Online. Поиск: Buchalo Sergej. Документы: 78971571, 78971572, 78971573. Анкеты заполнены от руки на немецком и частично английском языках. За помощь в их расшифровке и переводе благодарю Свенью Шнабель (Svenja Schnabel).

Сергей Бухало. И рядом фото дамы — с легким прищуром глаз, плавной окружностью лица, гладко зачесанными волосами: жена Анна.

Местом своего рождения Сергей Иванович называет городок Сороки в Бессарабии, датой — 17 февраля 1870 года. Вот и всплывает снова Бессарабия, где в 1903 году «Сергей Иванович Бухало 33-х лет» становится свидетелем кишиневского погрома.

Из анкеты следует, что в 1894 году он закончил Технологический институт в Санкт-Петербурге. А в 1905-м оказался за границей. Никаких иных подробностей о жизни в России не приводит. Кроме одной: оставаясь на чужбине российским подданным, числился лейтенантом запаса.

Звание лейтенанта существовало только во флоте, и теперь можно догадываться, где же молодой инженер мог быть занят, как упоминал Савинков, «изобретениями в минном и артиллерийском деле». Его военно-инженерная служба, судя по всему, приходится на вторую половину 1890-х годов, после чего последовало увольнение в запас, возвращение в родные края, служба в земской управе Кишинева. В 1905-м уезжает за границу, где и остается навсегда.

Причины эмиграции объясняет при заполнении формуляров устно, и записывающий анкетные данные чиновник отмечает, что есть основания рассматривать его как политического беженца.

Революционные события 1905 года многих заставили покинуть родину: одни скрывались во избежание арестов, другие уезжали сразу после освобождения, третьи, и таковых было немало, успешно сбегали из ссылки и оседали в Европе. К одной из этих категорий принадлежал и Бухало, что подтверждается, в частности, его связями с видным революционером Николаем Чайковским, который, в свою очередь, рекомендовал его Азефу. Знакомство Бухало с Азефом состоялось в декабре 1906 года в

Мюнхене. Но сам Сергей Иванович в вопросах на анкету 1951 года отвечает, что в Германию прибыл в 1909-м, а до этого в течение четырех лет жил в Париже.

Здесь Бухало явно переводит рассказ о себе в русло исторической беллетристики. В письмах Азефа от декабря 1906 года, в мемуарах Савинкова, который встречался с ним в 1907-м, речь идет о Мюнхене. Вспомним также объявление о продаже мотора в журнале «Flugsport» с адресом в Мозахе... В год заполнения анкеты — все это дела давно минувших дней, но Бухало даже сорок пять лет спустя полагает благоразумным запутать следы, откреститься от террористического подполья, под сводами которого конструировался аэроплан-убийца. Думается, не совсем кстати могло прийти к нему и появление в Мюнхене летом 1949 года публициста и писателя Романа Гуля, хорошо осведомленно-го в истории БО. Гуль в свое время написал роман, героями которого стали Савинков и Азеф, и с чтением отрывков из этой книги выступал на вечере, устроенном в его честь в кругу русских мюнхенских эмигрантов.

Бухало отмечает в анкете, что после того, как он поселился в Мюнхене, он жил в этом городе почти безвыездно. Исключение составил короткий период 1910-1911-го годов, когда он работал в Штутгарте у Роберта Боша. К тому времени Сергей Иванович женился на уроженке Мюнхена Анне Хютнер, и в апреле 1910-го в Штутгарте у них рождается дочь Изабелла.

Инженерная деятельность у знаменитого изобретателя и промышленника, основателя фирмы «Bosch» оказалась непродолжительной, и вскоре Бухало возвращается с женой и дочерью в Мюнхен. Здесь застаёт его Первая мировая война. Подданный Российской империи и лейтенант запаса, Сергей Иванович тем не менее остается в Германии со своей семьей и, по законам военного времени, интернируется в лагерь для содержания ино-

странцев из враждебных государств. Однако, уже в мае 1915-го освобождается — под честное слово и полицейский надзор.

После 1917 года, как и многие соотечественники-эмигранты, он оказывается «лицом без гражданства» и со временем получает международный нансеновский паспорт. О его профессиональных занятиях в условиях германского хаоса и затяжного кризиса 1920-х годов ничего не известно. К концу десятилетия, когда Германия постепенно восстанавливала силы, Сергею Ивановичу было уже под шестьдесят. Перспективные годы оказались съедены войной и разрухой...

В той же анкете 1951 года на вопрос о занятости в последние 12 лет перешедший 80-летний рубеж жизни Бухало отвечает расплывчато: как инженер занимался «техническими вопросами научного характера». В графе об источниках доходов сообщает, что получает пособие — около 100 марок в месяц.

Судя по всему, самыми яркими страницами его инженерной биографии остались годы увлеченного освоения законов воздухоплавания, погружения в расчеты и чертежи, его многострадальные опыты в кустарной мастерской на окраине баварской столицы. Думается, проницательный Савинков не ошибся, когда почувствовал, что сердце изобретателя бьется в такт с эпохой. О таких, как он, будут говорить вскоре словами поэта-футуриста и авиатора Василия Каменского:

В глазах — взлетающие аппараты. В ушах — музыка моторов. В носу — запах бензина и отработанного масла...

Последний известный нам сюжет из жизни Сергея Бухало — регистрация в качестве *беженца* в 1951 году. Станный шаг для человека, который без малого полвека прожил в одном и том же городе. Однако, при отсутствии гражданства возможный. И, как объясняет сам Бухало при заполнении анкеты, необходимый, по-

скольку статус «перемещенного лица» позволит ему обратиться в ведомство по возмещению ущерба пострадавшим от нацистского режима (Entschädigungsamt). В чем именно заключался понесенный урон, осталось за рамками заполненных формуляров.

Обращает на себя внимание, что и его дочь Изабелла, рожденная в Германии матерью-немкой и с 1940 года бывшая замужем за художником-декоратором Хойзером (Heuser) из баварского Бад Тельца, тоже имела нансеновский паспорт. Это означает, что при ее рождении в 1910 году Сергей Иванович пожелал, чтобы дочь стала подданной не Германской, а Российской империи. Верил ли тогда в силу и скорый успех революционного террора, надеялся ли вернуться с семьей в освобожденную Россию? И уж не на самолете ли собственной конструкции?

Любопытным штрихом этой истории видится и тот факт, что в преклонном возрасте инженер Бухало квартирует с женой Анной в Мозахе, то есть в тех же местах, где некогда начиналась его мюнхенская жизнь, отмеченная одержимостью изобретателя и далеко не безобидными иллюзиями революционера.

С историей неудавшегося аэроплана Сергея Бухало перекликается еще один мюнхенский сюжет, относящийся в тому же первому десятилетию XX века. Как помним, аппарат должен был нести на себе смертельный груз. Изготовление, транспортировка и хранение динамита были в числе программных задач эсеровской БО. В 1910 году партия динамита весом в пуд доставляется в Мюнхен. Ее привозит Мария Прокофьева, в свое время приговоренная к ссылке за покушение на царевубийство и бежавшая из Сибири за границу. По поручению Савинкова она передает посылку студенту медицинского отделения мюнхенского университета и товарищу по партии Дмитрию Донскому. За плечами 29-летнего Дмитрия Дмитриевича было уже несколько лет участия в революционном движении, арест, ссылка, по-

бег... В Мюнхене его навещал Борис Савинков, предлагал войти в свое боевое крыло. Беглый студент отказался. Но привезенный Прокофьевой динамит на хранение взял. Курьерша подчеркнула значимость посылки: предполагается покушение на царя.

Имело ли это отношение к аэроплану Бухало? Не исключено. Сам инженер в то время жил в Штутгарте, но связанная с ним идея воздушного террора пока еще не была окончательно вычеркнута из планов Савинкова. Возможно, речь могла идти и о другой задуманной акции. Как бы то ни было, предназначенные для Николая II 16 кг динамита оказались в Мюнхене. Донской в эти дни собирался забирать из больницы жену, только что родившую их первенца. Скрывать от нее наличие опасной посылки не намеревался, да и особых возражений не ожидал — Наталья Донская (Филипченко) разделяла его убеждения, сама имела опыт революционной борьбы и в свое время во избежание ареста скрылась из Петербурга под чужими документами. И все же услышал от нее тревожное: «А как же наш сын?». «При осторожности, — с улыбкой заметил муж, — ничего не произойдет, ну, а если произойдет, тогда не только от нас, но и от дома ничего не останется». И для успокоения добавил, что половину груза уже передал на хранение «многодетному, нуждающемуся, но верному человеку», некоему художнику Баклушинскому. «Я размышляла не более пары минут, — вспоминает Донская. — Имею ли я право отказаться. Если речь идет, быть может, о свержении самодержавия? Нет. И я дала согласие. Решили положить пакет с динамитом за шкаф в нашей спальне и не впускать в нее нашу горничную, хорошенькую легкомысленную Марию»*.

Так, с динамитом в спальне, принимая все меры предосторожности, молодая пара прожила шесть недель, пока не пришло сообщение, что «покушение на императора отменено из-за провокации». От опасной посылки велено было срочно избавиться.

* Дмитрий Дмитриевич Донской. Томск. 2000.

Донской задумал отнести ее в Английский парк и утопить в реке Изар. Жена забеспокоилась: «Ведь его все знали, и нельзя было исключать слежки. Я же сидела дома и была вне подозрений. Когда стемнело, я взяла продуктовую кошелку, положила в нее пакет и пошла в парк. Было безлюдно. Я смогла беспрепятственно спуститься к реке и опустить в нее пакет. Все обошлось хорошо».

Можно с улыбкой заметить, что посылка, которую не удалось отправить в Россию по воздуху, направилась туда водным путем: Изар → Дунай → Черное море, омывающее в том числе и российские берега... И все же повторим вслед за самоотверженной революционеркой: все обошлось хорошо. История избежала очередных кровавых потрясений. И лишь то вызывает сожаление, что кустарю-одиночке Сергею Бухало, у которого азарт изобретателя явно превосходил фанатизм террориста, так и не удалось осуществить инженерную мечту и выкатить на крестьянское поле в Мозахе свой чудо-самолет.

ПУШКИН В МЮНХЕНЕ

Когда я стал заниматься историей «русского» Мюнхена, меня несколько удивило, что в числе его гостей-путешественников, да и жителей, встречается большое количество лиц из окружения Пушкина — как близкого, так и далекого. Было бы понятно, если бы речь шла о таких городах, как Париж, Рим, Вена, Берлин... Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что начиная с 1820-х годов Мюнхен уверенно выбирался из разряда культурного захолустья Европы. Этому способствовали градостроительные проекты, инициированные королем Людвигом I, открытие (им же) художественных музеев, переезд (по его же инициативе) в Мюнхен из Ландсхута старинного баварского университета. Здесь обосновались немецкие интеллектуалы — философы Шеллинг и Шуберт, эллинист Тирш, историк Гёррес и другие.

О Мюнхене заговорили как об «Афинах Германии» и стали заезжать в него не только потому, что он удобно вписывался в маршруты европейских вояжей. С середины XIX века известность баварской столице начинает приносить возросший авторитет Королевской академии художеств. В 1858-м путешествующий филолог Михаил Сухомлинов имел уже все основания сообщить русскому читателю: «Мюнхен справедливо называют столицей искусства в Германии»*.

* Современная летопись русского вестника. Т. 17. М. 1858. С. 275-290.

У меня создалось впечатление, что к тому времени чуть ли не четверть персон из известного справочника Л. Черейского «Пушкин и его окружение» прошла по мюнхенским мостовым. Во всяком случае, это будет не таким уж большим преувеличением, если учесть и незнакомых поэту современников, связанных с кругами его общения. В «пушкинском» списке мюнхенских гостей — ближайшие друзья поэта: внимательно осматривающие город и его коллекции Василий Жуковский и Александр Тургенев, тут дважды побывал Петр Вяземский, на лекциях в университете — знакомые Пушкину московские мыслители братья Киреевские, Михаил Погодин, Степан Шевырев, тут промелькнули Петр Чаадаев, приятель Пушкина Сергей Соболевский, хозяйка знаменитого московского салона Зинаида Волконская, писатель Иван Аксаков, дважды заглянул недовольный Николай Гоголь (то ему холодно, то жарко, да и гостиничный «кофий смотрит подлецом»), побывали литератор Николай Греч, драматург Нестор Кукольник, литератор и композитор Николай Мельгунов, несколько месяцев провели братья Брюлловы — художник Карл и архитектор Александр. На дипломатической службе в Баварии занимали посты граф Федор Пален, граф Павел Граббе, знакомцы Пушкина из рода князей Гагариных — Григорий и его племянник Иван, «арзамасец» Дмитрий Северин, Федор Тютчев, стихи которого, присланные из Мюнхена, Пушкин печатал в своем журнале «Современник». Сюда приезжали сановники и носители великосветских титулов Дмитрий Блудов, Александр Бенкендорф, светлейший князь Петр Волконский, аристократ и музыкант Матвей Виельгорский, литераторы Владимир Титов и Николай Рожалин, критик и цензор Александр Никитенко, тут прошли последние годы великосветских красавиц пушкинской поры Амалии Крюденер (Адлерберг), Марии Нарышкиной, Жанетты Вышковской, в мюнхенскую хронику вписался пышный куст царского семейства: Александр I, Нико-

лай I с императрицей, великий князь Михаил Павлович, великий князь и будущий царь Александр II, великие княгини Мария Николаевна, Елена Павловна, а также сопровождавшие их царедворцы обоего пола... А раньше всех названных и неупомянутых в Мюнхене появился знакомец Пушкина барон Павел Шиллинг — дипломат и изобретатель, который вместе с немецкими учеными проводил здесь опыты с электричеством, занимался созданием телеграфа, изучал технику получения оттисков с камня и в 1815 году отпечатал в Мюнхене в качестве литографического образца озорную поэму дяди Пушкина, Василия Львовича, «Опасный сосед».

Сам же Пушкин, как известно, не бывал «даже в Любеке». Путешествиям за границу препятствовали то шестилетняя ссылка, то иные обстоятельства. Любек же был первым портом, куда прибывали россияне, отправлявшиеся в Европу из питерского Кронштадта. Вяземский пересказывал, как разгорячившийся в каком-то споре Пушкин несправедливо ополчился на Европу, на что его друг Александр Тургенев отозвался репликой: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек».

Следующему нашему классику в хрестоматийном ряду поэтов — Лермонтову — тоже не довелось повидать заграничной Европы.

В свете всего этого показалось неожиданным и необычным увидеть на страницах мюнхенской истории имена Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Добавлю, что в Мюнхене можно было встретить Михаила Шемякина — художника, но совсем не того, который ныне известен во многих странах, Илью Эренбурга — опять же художника, а не именитого писателя. Но здесь разговор о Пушкине и Лермонтове.

Пушкин

Главным орудием его труда был карандаш, основным подспорьем — блокнот. Что он в нем писал, было понятно только узкому кругу посвященных. Язык был неузнаваем — не русский, не немецкий, да и на язык в обычном понимании это было мало похоже, скорее — смесь замысловатых закорючек. Сам же Александр Пушкин (*Alexander Puschkin*) не просто хорошо в этом разбирался, но и считался большим мастером, особенно, если это касалось системы «закорючкотворчества», называемой габельсбергской. Однако, обозначим вещи своими именами: Александр Пушкин был признанным стенографом.

Он родился в Мюнхене в декабре 1822 года. Как раз в тот год, когда наш Пушкин еще находился в южной ссылке, работал над «Бахчисарайским фонтаном», «Братьями-разбойниками», кажется, уже подступался к «Онегину». Нашему Пушкину с детства были привычны немецкие фамилии, их носили лицейские друзья, учителя, государственные сановники, герои Двенадцатого года, ученые, домовладельцы, мастеровые... Как там у Гоголя в «Невском проспекте»?

Перед ним сидел Шиллер — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера.

Со своей стороны, ни Гофман в Бамберге, ни Шиллер и Гёте в Веймаре не могли похвастаться соседством... ну, скажем, с цирюльником Державиным или портным Карамзиным... Русские были знакомы немецким классикам как путешественники, дипломаты, но в окружавшем их германском пространстве оседали в ту пору не часто. И все же оседали...

Пушкин, не тот, который написал «Пиковую даму» и «Бориса Годунова», а будущий знаменитый стенограф, прилежно прошел курс обучения в мюнхенской гимназии (служивший здесь долгие годы Тютчев мог встречать его на улице в ученической форме), закончил университет и стал преподавателем и автором учебных трудов.

За увлеченное распространение в Нюрнберге, Вюрцбурге и Байройте стенографической системы своего учителя Франца Габельсбергера был даже прозван в профессиональных кругах «Апостолом габельсбергской школы на франконской земле». Второй профессией Александра Пушкина было преподавание французского языка. В 1868-м он получает место гимназического профессора в Байройте, где и проходят последние десять лет его жизни.

Нам привычно, что рядом с именем Пушкина часто звучит имя его наставника и друга Василия Жуковского. А потому не лишне отметить, что Василию Андреевичу был хорошо знаком Байройт: в 1821 году поэт заезжал туда к Жан Полю (Иоганну Рихтеру), ярчайшему представителю немецкой литературы, высоко ценимому им сентименталисту, сатирику, философу. В 1826-м Жуковский навестил его могилу. А Байройт более позднего времени увидел сын Василия Андреевича, художник Павел Жуковский. Он жил в Германии и в 1882 году был приглашен Рихардом Вагнером для сценического оформления оперы «Парцифаль» в байройтском театре.

Но вернемся в Мюнхен. Вот уже более ста лет в его городском музее хранится большое собрание акварельных работ, преимущественно второй половины XIX столетия, авторская подпись на которых гласит: *Puschkin*. Еще один Пушкин! Младший современник и «апостола»-стенографа, и автора «Повестей Белкина».

О художнике Йозефе Пушкине до недавнего времени было известно совсем немного: появился на свет в Мюнхене в 1827-м, учился в Академии художеств, какое-то время жил в Гамбурге, умер Мюнхене в 1905-м. И лишь несколько лет назад многие лакуны его биографии оказались заполнены благодаря разысканиям искусствоведа и историка Рихарда Бауэра, подготовившего к печати великолепный альбом пушкинских акварелей старого Мюнхена*.

Йозеф (в русском эквиваленте Иосиф, Осип) оказался младшим братом стенографа. Их отец Андреас до 1822 года звался Андреем и состоял поваром при российском посланнике графе Федоре Палене. Граф заступил на службу в баварской столице в 1815 году. Когда же семь лет спустя он был отозван для исполнения других государственных поручений, Андрей, имевший к тому времени виды на баварочку Терезу Хубер, решил остаться в Мюнхене.

Неожиданный поворот событий — если вспомнить, что повара́ на Руси были, как правило, крепостными. Но и объяснимый — если учесть, что граф Пален принадлежал к остзейскому дворянству, сам был родом из Курляндии, оттуда же происходили и его дворовые, в том числе и повар Андрей. В 1817 году курляндские крепостные получили личную свободу. Это и позволило будущему отцу немецких Пушкиных не следовать в 1822 году за графом в Россию и в возрасте сорока пяти лет начать новую жизнь: остаться на чужбине, завести семью и попробовать себя в роли баварского трактирщика.

Неясным остается вопрос, почему он именовался Пушкиным. В большинстве случаев крепостные не имели фамилий или таковыми им служили производные от имени отца. Можно предположить, что, став свободным, Андрей просто выбрал себе понра-

* Bauer, Richard. Altmünchen. Der Maler Joseph Puschkin (1827-1905) und die Sammlung Neuner im Münchner Stadtmuseum. 2017. Weißenhorn.

вившуюся звучную фамилию. Велик соблазн представить графского повара любознательным малым, услышавшим имя поэта в разговорах барина, а то и заглядывающим в получаемые посольством альманахи и журналы, где его привлекают ранние стихи Пушкина, поэма «Руслан и Людмила». Заимствовав фамилию, он и своему первенцу дает имя поэта — Александр... И все же «догадки» лучше оставить для беллетристического жанра. Тем более, что граф Пален, по свидетельству поэта Василия Туманского, отличался «малым знанием русского языка».

Как бы то ни было, в 1822 году бывший повар его сиятельства становится мюнхенским «виртом» (трактирщиком) Андреасом Пушкиным. И кажется, не очень удачливым: открывает кофейню, затем пивную, адреса его заведений меняются несколько раз... В браке с Терезой рождается шестеро детей: сыновья и две дочери. Один из сыновей умирает во младенчестве, другой, ставший слесарем-подмастерьем, рано заканчивает жизнь в тюрьме. Еще о двух отпрысках мы уже знаем: самый успешный — Александр (1822-1878), дослужившийся до места гимназического профессора, и его младший брат рисовальщик, акварелист, график Йозеф (1827-1905).

После окончания в Мюнхене Академии художеств Йозеф Пушкин некоторое время жил в Гамбурге, путешествовал, появлялся в Берлине, в Саксонии, но в 1868-м окончательно вернулся в родной город. Как художника его особенно привлекали архитектурные сюжеты и, если широкая известность обходила его стороной, то у местных жителей и путешественников работы уличного рисовальщика нередко пользовались успехом.

Искренним ценителем его дарования и фактически «меценатом» становится благополучный мюнхенский трактирщик Эдмунд Нойнер. Он слыл знатоком и ценителем вин, успешно вел виноторговое дело. А еще был привязан к своему городу, в котором прожил многие годы, и с печалью наблюдал, как тот меня-

ется, как исчезают старые здания, как растворяется сам дух эпохи «бидермайера», дух уюта и сентиментальности. В работах Йозефа Пушкина он нашел близкую и понятную ему ностальгическую ноту: художника притягивала повседневность, некоторая старомодность Мюнхена — как в респектабельных фасадах центральных площадей и улиц, так и в незатейливых домах переулков и окраин; он выхватывал детали из облика людных мест и воспроизводил патриархальную тишину мюнхенских закутков, задерживал взгляд на житейских сценках и вглядывался в городские типажи...

Кажется, они подружились. Нойнер стал собирать акварели Пушкина — покупал, получал в дар. Предоставил возможность бесплатно столоваться в своем трактире.

После смерти художника Нойнер передал в дар городу более трехсот его работ. Позднее к ним добавилась еще одна частная коллекция, собранная уже в XX столетии. Это пушкинское наследие — уникальная память об ушедших в прошлое архитектуре и быте Мюнхена. Плод его мастерства и тонкой наблюдательности.

Лермонтов

Лермонтова звали Михаил, но вот отчество «подкачало»: Александрович. Разговор о нем хотелось бы предварить сюжетом, связанным с «настоящим» Лермонтовым, то есть с поэтом Михаилом Юрьевичем.

Нога его не ступала на чужбину, но вот судьба его автографов — рукописей, рисунков, набросков — отмечена довольно необычной географией. Часть их еще при жизни поэта попала в Вюртембергское королевство, куда со своим немецким мужем уехала родственница и друг Лермонтова Александра Верещагина. Позднее к ее собранию добавились автографы и материалы от Варвары Лопухиной, в которую, как уверяют современники,

Лермонтов был страстно влюблен до конца дней. Почти сто лет все это хранилось в одном из штутгартских замков, затем коллекция была распродана на аукционе. В поле зрения российских лермонтоведов она попала в середине XX века, когда ее часть уже находилась под Мюнхеном в собрании профессора-историка Мартина Винклера.

С ним и попытался связаться в 1955 году Иракий Андроников, но за неимением адреса отправил письмо наудачу — в самый знаменитый мюнхенский музей Старую Пинакотеку. Где оно затерялось, неизвестно. Каково же было удивление лермонтоведа, когда несколько лет спустя Винклер сам разыскал его. В 1962 году Андроников побывал в гостях у профессора:

Мартин Винклер живет в сорока километрах от Мюнхена в городке Фельдафинг, арендует нижний этаж уютного особняка. Из окон виден зеленый луг, сбегаящий к речке, купы деревьев. Квартира ученого напоминает музей: гравюры с видами старого Петербурга, портреты, писанные безыменными русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соломенные зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева, в спальне — фотографии в цвете: хозяин дома снимает с большим искусством... Войдете в кабинет — великолепная русская библиотека по истории, по искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в продолжение долгих десятилетий. В свое время — в 1928 и 1930 годах — профессор Винклер побывал в Советском Союзе, встречался с А.В. Луначарским, знакомился с Новгородом и Киевом, Ленинградом и Ярославлем, Москвой и Кавказом...

Лермонтовские реликвии из собрания Винклера вскоре навсегда покинули баварскую землю: Андроников редко возвращался из своих путешествий с пустыми руками... По случайному совпадению именно в то время, когда профессор Винклер со своей

коллекцией поселился под Мюнхеном, на его улицах появляется Михаил Лермонтов, понятно — «другой». Только что закончилась Вторая мировая война. Ему двадцать с небольшим. За плечами сюжеты одной из типичных эмигрантских биографий — детство на Балканах, где он родился в семье белогвардейца из русского рода Лермонтовых, воспитание в кадетском корпусе, служба добровольцем в Русском корпусе.

В кадетском он носил прозвище «Гулька», там же в наказание за провинность однажды получил задание: «Ты, Лермонтов, пиши стихи!» Стал пробовать:

На окне повис паук,
В паутине муха.
Скоро будет ей каюк —
Пауку житуха.

Другим его, уже более серьезным, увлечением, в котором он тоже будто бы следовал за своим великим сородичем, становится рисование. В Мюнхене после войны Лермонтов начал учиться на архитектора. А в 1950-м перебрался в Америку, где прожил еще многие годы, работая преподавателем по истории России, архитектором и продолжая полюбившиеся занятия графикой. На рубеже перестроечных лет у него завязались тесные отношения с Россией, в том числе с возникшей тогда ассоциацией «Лермонтовское наследие», объединившей отпрысков рода Лермонтовых из многих стран.

Небольшое путешествие в «пушкинский» Мюнхен было бы неполным, если не упомянуть, что в этом городе есть улицы с названиями Кюхельбекер и Онегин. Мы вернемся к этим именам на других страницах книги — в заметках о баварской топонимике «Дунай сын Иванович».

«НЕИЗБЕЖНЫЙ ТУРГЕНЕВ»

Ступай к другим. Уже написан Вертер...
Б. Пастернак

Среди исторических персонажей, которые в пору моих пушкинско-декабристских увлечений оказывались постоянными спутниками, может быть, первое место занимает Александр Иванович Тургенев. По его рекомендации Пушкина определили в Лицей, и он был единственным из окружения поэта, на кого пал царский выбор — сопровождать тело Пушкина к месту погребения в Святогорский монастырь. Между 1811-м (Лицей) и 1837-м (смерть поэта) Тургенев — опекун, друг (на 15 лет старше), собеседник, корреспондент, адресат стихов, близкий свидетель последних дней Пушкина... А в ближайшем окружении поэта — брат известного декабриста, друг Жуковского, Вяземского... Его имя неизменно всплывает при обращении к биографиям Карамзина, Дмитриева, Батюшкова, Баратынского, Козлова...

С конца 1820-х он много времени проводит в разъездах по Европе — работает в архивах, публикует в России обширные материалы по русской истории. Как и на родине, у него здесь много друзей и близких знакомых в кругах литературных, научных, аристократических... О широте его общения можно судить по необозримой переписке, которую, по словам Вяземского, он вел «со всею Россиею, с Францией, Германией, Англией и другими государствами». В определенной мере он принадлежал к наиболее действенным и ярким в ряду тех, кто, можно сказать,

соединял собой в 1820-40-е годы Россию и Европу. К принятому в отношении к нему историками определению *русский европеец* стоило бы добавить и *европейский русский*.

Федор Иванович Тютчев, встречавший его то в Вене, то в Париже или Варшаве, на курорте в баварском Киссингене или в Петербурге, шутливо сетовал, что скрыться от «неизбежного Тургенева» можно было бы разве что в далеком от Европы Китае...

С Тютчевым Тургенев познакомился летом 1832 года в Мюнхене. А несколькими годами раньше в курортном Карлсбаде состоялось его знакомство с философом Шеллингом, которого Тургенев тут же признал «первой... мыслящей головой в Германии». Там же, в нынешних Карловых Варах, одновременно с ним поправлял здоровье Чаадаев. Как и его «добрый приятель» Тургенев, он оказался под большим впечатлением от Шеллинга. Позднее оба переписываются с немецким философом, а в 1832-м Тургенев приезжает в Мюнхен, где тот уже несколько лет живет и преподает. Исследователи отмечают, что в довольно обширном кругу русских паломников к Шеллингу (братья Киреевские, Погочин, Хомяков, Шевырев) именно с Александром Тургеневым у него складываются наиболее близкие отношения.

Тургенев вел дневник, который уже не раз привлекал внимание ученых. В частности, мюнхенские записи — ценные для изучения эпохи и ее корифеев — стали предметом основательной научной публикации*, один из сюжетов которой неожиданно захватил мое внимание. Сюжет — обыденный, осмелюсь сказать, тривиальный на фоне интеллектуальных интересов автора дневника и его могучих мюнхенских собеседников, но... что называется, очень жизненный, к тому же — трогательный и печальный. Сюжет, который призван и обречен вечно переходить из литературы в жизнь и обратно.

* Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. 1989.

Апрель 1834 года Александр Иванович снова проводит в Мюнхене, бывает на лекциях профессора, появляется у него дома, Шеллинг заходит к нему в гостиницу, они прогуливаются по Придворному саду или вместе направляются в популярную книжную лавку Иоганна Котта... Тургенев принят при баварском дворе, перед ним открыты двери аристократических салонов, домов мюнхенской профессуры, он свой в кругу проживающих тут русских дипломатов, среди которых снова встречает Тютчева. Последний умен, просвещен, обаятелен, но известного нам ореола поэта-мыслителя еще не приобрел, а потому для Тургенева — просто милый Тютчев: «образованный русский, много читал и хорошо говорит».

30 марта, четыре дня спустя после приезда, Тургенев — на королевском приеме. Людвиг I не узнал в нем давнего знакомца и полюбопытствовал, говорит ли гость по-немецки. Александр Иванович отвечал утвердительно: почти так же, как и по-русски, и напомнил его величеству, что они вместе учились в Гёттингенском университете. Среди придворных дам бросились в глаза несколько красавиц, но особенно «зацепила» одна довольно юная «вдовушка».

Вот с этого места, с этой «вдовушки» он, Александр Иванович Тургенев, далеко не молодой, уже с заметной проседью, и для меня — хрестоматийная тень Пушкина и его великих соотечественников, собеседник, которого узнали бы и которому протянули бы руку со своих портретов, давно украшающих залы музеев, библиотек, университетов, Гёте, Шатобриан, Гейне, Скотт, Стендаль, Мериме, Мур, Бальзак, Шлегель, Талейран... — начинает приобретать черты юного Вертера, охваченного вихрем головокружительной влюбленности.

Казалось бы, он ни на секунду не изменяет своим интересам — его дни в Мюнхене по-прежнему насыщены научными и политическими дискуссиями, обменом мнений об искусстве, ис-

тории, осмотром музеев — уже виденной им в предыдущий приезд Глиптотеки, а теперь и Пинакотеки, в которой еще идут отделочные работы. Он осматривает новые покои Людвига I в королевской резиденции, посещает театр, концерты, университетские лекции... Он не чужд и обыденного светского общения (словечко «болтали» часто сопровождает его дневниковые пометки о вечерах в мюнхенских салонах). Но глаза уже постоянно в поисках ее, а ноги все чаще несут его туда, где ее можно увидеть... На притягательных подмостках, на которых разворачивалась жизнь баварской столицы с ее философами, историками, скульпторами, художниками, просвещенными аристократами, иностранными посланниками, внимание Тургенева все больше и больше фокусируется на особе, о которой из его же скупых реплик мы можем только понять, что она миловидна, молода, рано овдовела и у нее есть именитые родственники, иными словами — одна из очаровательных дам мюнхенского света.

Он называет ее двадцатилетней, в действительности ей несколько больше: двадцать три. Холостяку Тургеневу именно в Мюнхене исполняется пятьдесят. Как раз в день рождения ему посчастливилось на балу у английского посланника вальсировать с ней. Впрочем, из-за разницы российского и европейского календарей, а может, и по причине сердечного волнения он путается в датах и вообще с опозданием вспоминает: «Третьего дня было мое рожденье — или вчера!»

Она то мила с ним и любезна, то суха и смущена. Через несколько дней после знакомства он уже пытается объясниться и, глотая слова, записывает в дневнике: «просил — быть моим ангелом-хранителем, спасти меня от... сказал ей почти все... дошло до того, что запретила распространяться далее...» В самой ее уклончивости ищет надежду: «или кокетствует или любит».

Все чаще его оставляет хладнокровие — лихорадочно объезжает дома, где ожидает ее застать, с мыслью о ней срывается с

любого места... Воображение становится обостренно ассоциативным, оно цепляется за любую деталь, способную породить новые надежды и давать свежую пищу переживаниям. На представлении в театре, когда шиллеровская героиня декламирует «Одно на свете для меня есть место...», он, не дождавшись даже окончания акта, тотчас покидает зрительный зал — найти ее, его место рядом с ней...

Вот дневниковые записи одного из тех апрельских дней: «в саду встретил вдовушку... Вечер... нигде не нашел вдовушки... В окнах вдовушки светился огонь, она была дома...» В другой день: «Сделал визит ей — нездорова!» На случайной встрече на улице пытается вырвать у нее обещание вечером увидеться у графа Сетто. «Сказала, что объявила уже, что не будет, что должна писать письма; я умолял — не соглашалась... взял ее руку, жал ее с восхищением и поцеловал... бродил до 9-ти часов... подошел к ее окнам: в них был — свет; я не пошел к Сетто, напился горячего пуншу и бросился изнеможенный в постель».

В дневнике мелькает: «вдовочка», «царица мыслей моих», «Мадонна Мефистофеля», «грусть и уныние, изъясняемые только поздно заронившеюся в сердце искрою», «грусть в сердце», «почти безотходно сидел при ней. Сказал много, но не все», «прообожал ее до полночи», «нигде ее во весь день не встретил»...

Многие часы проводит с ее братом, и разговор почти непременно сводится к ней. Для большинства знакомых его увлечение, стремительно обернувшееся пылкой привязанностью, уже не секрет. Тютчев, моложе Александра Ивановича двадцатью годами, но при этом, судя по всему, более опытный в амурных делах, решается давать советы: «быть смелее, шутить». Однако в разговорах с ним Тургенев вдруг приходит к предположению, что его женатый приятель и «сам любит ее!»

Все осложняется еще и ее предстоящим отъездом в Париж. Последовать за ней невозможно: в Париже скрывается его брат, заочно осужденный в России по делу 14 декабря, и Александр Иванович, постоянно хлопотавший о его реабилитации, смог выехать за границу, дав слово не навещать брата в этом путешествии. Впрочем, «если она долго там пробудет», он, может быть, все равно туда поедет. Об этом сообщает друзьям позже, уже после разлуки с очаровавшей его баварской красавицей. А пока ему становится понятно, что оставаться в Мюнхене после ее отъезда было бы выше его сил. Кронпринц, будущий Максимилиан II, уговаривает не спешить и ссылается на отца-короля, который «очень рад, что вы здесь и желал бы, чтобы вы задержались...» Но и монаршая благосклонность едва ли радует его и, во всяком случае, ничего не способна изменить; Александру Ивановичу ясно: остается всего несколько дней...

И снова — под ее окнами... Или в церкви — тайком наблюдает, как она молится. И снова пытается объясниться, полнее раскрыть свои чувства — она отвечает уклончиво, а то и просто отворачивается, наконец тихо по-французски произносит «это меня раздражает». Однако и от этой резкости отрезвление не приходит.

Близится день развязки. Ее отъезд назначен на 1-е мая, месяц спустя со дня их знакомства.

На почтовом дворе он выспрашивает, к какому времени заказан на ее имя экипаж и по какой дороге предполагается выезжать из города. Долго не может заснуть и на рассвете, с томиком Гёте (!) и зонтиком в руках, отправляется к заставе. «Осмотрел места, читал, гулял — хотел воротиться...» Но вот, в половине шестого утра, показалась ее карета. Словно робкий юноша, прячется за забором, потом все же решается подойти: «...подал руку, сказал совсем не то, что сначала собирался, — одно слово: *Vonjour*. Отвечала то же, сухо, не дала руки; я сорвал с букета

цветок; она сказала, что велит ехать, — я ушел... вот и все! *Finita e la comedia!*..»

Он находит в себе силы пообедать с князем Гагариным, но в тот же день заказывает для себя карету и, более ни с кем не прощаясь, к вечеру покидает Мюнхен. С собой увозит два литографированных портрета — Шеллинга и «вдовушки».

И, кажется, почти сразу в дороге начинает обретать иное дыхание и заново подводить итог мюнхенским впечатлениям и переживаниям: «Милая бар(онесса) отравляла воспоминания, но в этой отраве, как обыкнов(енно), — не без сладости: „Один час прожил я в Минихе”», — думал я. Я любовался Минихом, окрестностями и наслаждался прохладой вечера, захождением солнца... На первую станцию приехали мы уже когда смерклось...»

Полгода спустя Петр Андреевич Вяземский, один из немногих, кого Тургенев посвятил в «сердечную тайну», оказывается в Мюнхене, где любитесь вернувшейся из Парижа «вдовушкой черноглазой».

Впрочем, давно пора назвать ее по имени: урожденная баронесса Эрнестина фон Пфедфель, в первом замужестве Дёрнберг, с 1839 года жена овдовевшего Федора Ивановича Тютчева.

Европейские тропинки Тургенева и Тютчева еще несколько раз пересекутся. Но свою баварскую Лотту Александр Иванович, так и оставшийся холостяком, снова увидит только в 1844 году, через десять лет после встречи в Мюнхене, на сей раз в Париже. В дневнике отметит немногословно: «Тютчева все еще мила, но скромна».

* Наряду с произношением *Мюнхен* в русском языке той поры употреблялось также *Миних* (А. Тургенев) или *Минхен* (В. Жуковский). *Вл. Ш.*

РАЙ «ТЕГЕРНЗЕЕ»

До «рая» у нас рукой подать... Всего лишь пятьдесят километров к югу от Мюнхена. Равнинная местность там плавно переходит в альпийский ландшафт, и на высоте 766-ти метров над уровнем моря открывается долина, в центральной части которой почти на шесть километров вытянулось горное озеро Тегернзее.

Вдоль его берегов и на склонах окрестных гор примостились уютные баварские селения — курортный городок с тем же названием, деревни Роттах-Эгерн, Бад Висзее, Санкт-Квирин и другие.

Притягательность этого края была оценена многими нашими соотечественниками и даже получила, уже в наши дни, восторженную и безапелляционную оценку (автора назову позднее): «Баварцы живут в раю».

Россияне открыли для себя «баварский рай» около двухсот лет назад, коренное же население, надо полагать, облюбовало его со времен незапамятных.

Впрочем, некую исходную точку можно обозначить более определенно: середина восьмого столетия. Именно тогда два брата из знатной баварской семьи Хуоси (Huosi) основали на берегу пришедшегося им по душе озера монастырь.

Обитель

Некоторые факты этой истории подтверждаются документально, лакуны, как водится, давно заполнены легендами. В них говорится, что братья были приглашены ко двору правителя франков Пипина Короткого. Кстати, того самого, о котором случайно прослышал зощенковский персонаж Назар Синебрюхов и с тех пор был преисполнен сознанием собственной учености: «Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто за есть такой Пипин Короткий?»

Один из братьев взял с собой в путешествие сына, любителя шахматной игры. Мальчик сразился с сыном Пипина и выиграл. Расстроенный противник в сердцах ударил гостя шахматной доской по голове. И юный игрок умер. Пипин не знал, как сообщить трагическое известие баварским гостям. В конце концов решился на хитрость и обратился к ним за советом: как бы они поступили, если бы некто принес им горе, но не из злого умысла, а по неосторожности? Приняли бы это с христианским смирением, — без промедления ответили братья. После этого, когда они узнали о несчастье, им ничего не оставалось, кроме как последовать собственному совету. Но утрата заставила глубже задуматься о несовершенстве мирского общежития и склонила к принятию монашеского обета.

Вслед за гордецом Синебрюховым меня подмывает спросить читателя, знает ли он, «кто за есть такой» сын Пипина Короткого? То-то и оно... А было их несколько, и один даже приобрел громкую славу и вошел в историю под именем Карла Великого. Однако, не берусь утверждать, что именно он оказался слабым и вспыльчивым шахматистом.

Обитель, которую братья начали отстраивать на свои средства, расположилась на восточном берегу «tegarin seo», что на старом немецком означало «большое озеро» и со временем трансформировалось в слитное написание Tegernsee.

Вскоре монастырь удостаивается папского подарка — из Рима в него доставляются мощи христианского мученика третьего века Квирина. Они и сегодня хранятся в алтарной части монастырской церкви. Рядом покоятся останки двух основателей обители, которые, согласно легенде, лично совершили паломничество к папскому престолу и доставили святые реликвии на Тегернзее. Столетиями братья мирно почивали в лавровом облачении красивой легенды, пока не раздался... голос из гроба. В январе 2016 года местная газета «Голос Тегернзее» поместила заметку «Новость из гроба»: антропологическо-медицинское исследование показывает, что останки не могут принадлежать коренным жителям Баварии, также и близкие родственные связи между ними не находят подтверждения.

Безжалостная наука, однако, не внесла полной ясности в историю основания монастыря, оставив нам право на внимание к древнему преданию. Одним из напоминаний о нем служит старинное рельефное изображение «братьев»-основателей над входом в монастырскую церковь. В описаниях убранства другой церкви в этих краях говорится об утраченной фреске с изображением двух молодых людей, склонившихся над шахматной доской.

Щедростью основателей и отчасти баварского герцога монастырские земли постепенно расширяют свои границы вокруг озера, простираясь в южном направлении вплоть до тирольских земель. Сверх того, владения тегернзеевских монахов появляются в разных уголках Баварии, а со временем и за ее пределы. Монастырь переживает порой и тяжелые времена, но все же большую часть своей истории славится как один из значительных в Баварии духовных и культурных центров, где живут и трудятся теологи, составляются монастырские хроники, пишутся литературные произведения, где развиты ремесла (литьё, витраж), издаются книги (рукописные, а затем и печатные) и со-

бирается большая библиотека. Успешно ведется и обширное хозяйство, расположенное как вблизи, так и за тридевять земель: земледелие, животноводство, рыбная ловля, охота, виноделие в Южном Тироле, соляная добыча в Райхенхалле... Недалеко от озера, на лечебном источнике еще в XV веке появляется монастырский оздоровительный комплекс.

Завершается же более чем 1000-летняя история обители в 1803 году, когда с крушением Священной римской империи аннулируется церковная государственность, что приводит к роспуску монашеских общин. В Баварии закрываются все большие и малые монастыри, их собственность переходит в казну провозглашенного в 1806 году королевства. Крестьяне, жившие и работавшие на монастырских землях, становятся подданными светской Баварии, монастырская недвижимость в основном выставляется на аукцион. Возрождение монашеской жизни (в рамках правового поля баварской конституции) началось спустя четверть века. Однако на Тегернзее она уже не вернулась.

Королевская резиденция

К тому времени монашеский комплекс занимал большой участок вокруг церкви с мощами Святого Квирина. Со склонов окрестных гор бросалось в глаза, что крыши основных строений покрыты листами кровельной меди. Знающие толк отдавали этому должное: зажиточно, долговечно. Вскоре часть бывшего монастыря приобрел один предприимчивый чиновник. Покупателя интересовала прибыльная пивоварня, а также кровля, которую он и начал снимать и перепродавать, с лихвой окупая понесенные расходы.

Церковь Святого Квирина продолжила свою службу в качестве приходской. Что же касается остальных строений... трудно сказать, что могло их ожидать, если бы райский уголок у горного озера не очаровал баварскую королеву.

В 1817 году остатки обители и часть бывшей монастырской недвижимости были выкуплены и постепенно превращены в летнюю резиденцию. На смену тихой монашеской жизни пришел шум и блеск королевского двора. За правящей четой с ее ближайшим окружением в долину Тегернзее потянулась баварская аристократия, не остались в стороне и русские дипломаты с их укоренившейся со времен Петра Великого привычкой проводить лето «на даче».

Можно себе представить, как обрадовалось местное мирское население, опустившее руки после потери работодателя-кормильца в лице монастыря и неожиданно вновь востребованное, на этот раз баварской знатью. Кажется, отголоски этого воодушевления и сегодня продолжают вдохновлять тамошних усердных баварцев.

В гостях у свояка

Одним из незабываемых для местных жителей событий «новой эры» стал прием королем Максом Йозефом двух императоров — австрийского Франца и российского Александра. В октябре 1822 года оба спешили на Веронский конгресс, но приняли приглашение навестить по пути баварского правителя. Мемориальная доска, установленная в память этой встречи в церкви, сообщает, что император Австрии прибыл с императрицей и двадцатью пятью придворными персонами, русский же царь Александр был без супруги, сопровождаемый двадцатью двумя чинами его окружения. Тут в пору развести руками: жена нашего государя, Елизавета, доводилась родной сестрой баварской королеве, и ее присутствие здесь казалось бы более чем уместным. Встреча, вообще, несколько напоминала семейную, поскольку король не только принимал венценосного свояка из России, но и после долгой разлуки имел радость обнять собственную дочь от первого брака, жену австрийского императора.

Что же касается отсутствовавшей тут Елизаветы, то ни для кого не было секретом, что Александр I охладел к ней давно; это произошло через несколько лет после заключения брака, в который его подростком пятнадцати лет вовлекла бабушка Екатерина II. Тогда у него начался бурный роман с замужней красавицей Марией Нарышкиной, и связь эта продолжалась многие годы, пока император не узнал об изменах своей пассии. Главным обольстителем оказался красавчик князь Григорий Гагарин. История эта была уже в прошлом, когда в 1822 году государь знакомился с Тегернзее, но упомянута здесь потому, что судьбы Гагарина и Марии Нарышкиной позднее оказываются связаны с этими краями: в 1832-м Гагарин в качестве российского посланника будет аккредитован при баварском дворе, проведет здесь последние годы жизни и будет похоронен на тегернзеевском кладбище, а позже и Мария Нарышкина поселится в Мюнхене и уйдет из жизни на берегу другого баварского озера — Штарнбергского.

Волнения, связанные с приемом, переутомили 66-летнего короля Макса Йозефа. В какой-то момент ему даже пришлось слечь в постель. Впрочем, довольно скоро он снова появился перед гостями и предложил посетить «старые купальни» в Вильдбад Кройте, купленные им в числе бывшей монастырской собственности.

Запомнился ли этот источник Александру, не от него ли впервые услышал о целебных водах на Тегернзее его брат Николай? Как бы то ни было, но в 1838 году в этих купальнях будет поправлять здоровье императорская чета — Николай I с супругой, о чем пойдет разговор некоторое время спустя. А пока нужно закончить повествование о высокой встрече 1822 года.

Прокатившись в экипажах к лежащему в стороне целебному источнику, гости и хозяева вернулись к озеру и направились к его северному берегу — на королевскую животноводческую

ферму Кальтенбрунн, где для них был накрыт праздничный стол. После обеда и небольшой пешей прогулки они вернулись парохомом к резиденции. И тут их ждал прощальный сюрприз: на склонах окружающих озеро гор разом вспыхнули большие костры, осветившие в сумерках три инициала: А — Александр, F — Франц и М — Максимилиан.

После отъезда гостей король снова взялся за благоустройство тегернзеевской резиденции. Работами руководил придворный архитектор Лео фон Кленце. Тогда же черты зажиточного и уютного курортного городка стало приобретать мирское поселение, некогда выросшее рядом с монастырем. Оно унаследовало от монастыря и озера не только название — Тегернзее, но и геральдическую символику: сплетающиеся стебли озерных растений и три короны, подразумевающие поклонение Святому Квирину и память о двух основателях обители.

Герцог Макс

Падение монархии в 1918 году не затронуло имущественный статус королевских владений на Тегернзее. Значительная их часть и сегодня принадлежит потомку баварской королевской династии — герцогу Максу и его детям. В бывшем монастырском комплексе находятся жилые помещения семьи, принадлежащие ей пивоварня, пивная, ресторан, шнапсовое производство... В части комплекса расположена городская гимназия: ее помещения были безвозмездно предоставлены герцогской семьей во время послевоенной разрухи 1940-х и позднее выкуплены государством.

В собственности герцога остается и территория бывшей монастырской купальни Вильдбад Кройт.

Старая купальня

История открытия целебных вод в нескольких километрах от озера, как водится, украшена легендой. Охотник, преследовавший раненого зверя, заметил, как тот остановился у небольшого источника и подставил рану под стекавшую воду. Весть об этом разошлась по округе, и местное население потянулось к источнику, уверовав в его чудесную силу. Не прошло это и мимо внимания монастыря. К концу XV века относятся упоминания о монастырской лечебнице «St. Leonhard», дальнейшие документы рассказывают о строительстве дома при купальне, о правилах обслуживания и ценах (3 крейцера в сутки, 1566 год), о пожаре в конце XVI века, после которого над источником возвели сохранившуюся до нашего времени капеллу Святого Креста с пристройкой для жилья и лечебных процедур. Еще один дом для пациентов был построен монастырем в начале XVIII столетия. А век спустя, когда лечебный комплекс с землей выкупает король Макс Йозеф, рядом появляется новое курортное здание с просторной верандой для отдыха.

Целебная сила источника была к тому времени уже конкретизирована наукой и рекомендовалась при подагре, ревматических заболеваниях, а также камне-почечных и связанных с печенью беспокойствах. Памятуя о монастырских правилах предоставления лечения бедному люду, король выделял 50 тысяч гульденов, чтобы дважды в год здесь могла бесплатно поправлять здоровье малообеспеченная публика, ей предоставлялись полный комфорт и развлечения, включая и вечерние музыкальные концерты.

В тот год, когда король показывал лечебницу императорам Францу и Александру, в оздоровительную программу, по швейцарскому примеру, были включены овечья сыворотка и соки из альпийских трав. То и другое вырабатывалось в окрестностях.

Здравница просуществовала до 1973 года. К тому времени санаторно-курортное лечение развилось непосредственно на

берегу озера — в Бад Висзее, где еще в начале XX века были обнаружены целебные источники, и популярность «старой купальни» постепенно сошла на нет.

После закрытия лечебницы комплекс был сдан герцогом в аренду одному из общественных фондов, близкому к ведущей баварской партии христианских социалистов (ХСС), с тех пор в нем проходят конференции, семинары, концерты.

Одним из напоминаний о некогда популярной лечебнице служит мемориальная доска с именами российской императрицы Александры Федоровны и ее дочери великой княжны Александры Николаевны, проходивших здесь курортное лечение с 29 июля по 30 августа 1838 года. Строчкой ниже назван и сам император Николай I, отдыхавший с ними во второй половине августа.

Царская семья — здоровье и матримониальные заботы...

Весной того года императрица встревожила семью и придворных врачей «кашлем и несварением желудка», в связи с чем и выбрана была для поправления ее здоровья баварская лечебница. Месячный курс рекомендован был и для ее тринадцатилетней дочери Александры. Тем временем Николай совершал свой вояж по Европе, пока ближе к середине августа не завернул в сторону Тегернзее.

Вильдбад Кройт (в русском произношении Крейт) — место уединенное, больше напоминающее хутор и уж никак не похожее на курортные городки. Таким и увидела его царская семья летом 1838 года. Петербургская газета «Северная пчела» поспешила донести его описание до своих читателей.

Местоположение Крейта, в преддверии Альп, самое приятное. В небольшой долине, окруженной почти со всех

сторон высокими, богатым лесом покрытыми горами, устроено заведение для ванн и для употребления сыворотки и свежих альпийских соков. Хотя долина сия лежит более 2900 футов над поверхностью Средиземного моря, но, быв защищена от ветров, имеет весьма умеренный климат. Воздух горный, чистый, но не резкий, а самый благо-растворенный и приятный для дыхания. Взор приезжаго с удовольствием встречает в уединенной сей равнине ряд веселых строений, живописно расположенных у подошв кру-тых гор. Русского же изумляет вид небольшой церкви, со-вершенно похожий на наши старинные церкви... Крейт особенно славится приготовлением сыворотки, сего цели-тельного в Альпийских горах средства, для восстановления питательных сил и укрепления слабости груди и нервов... Государыня императрица... начала употреблять сыворотку и ванны. Хорошее влияние сих средств и особенно чистого благо-растворенного воздуха на здоровье Ее Величества очевидно, и надеяться должно, продолжение сего пользова-ния будет иметь желаемый успех... Его Императорское Ве-личество проводит в сем уединении довольно приятно, де-лая прогулки по горам.

Приезд Николая I ненадолго нарушил тишину Вильдбад Кройта. В его честь был устроен народный праздник — с тради-ционной стрельбой по мишеням и баварско-тирольскими танца-ми. В основном же здесь царила идиллическая атмосфера, кра-сочно описанная сопровождавшим императрицу шефом жандар-мов графом Бенкендорфом:

...Мы в маленькой альпийской долине, среди высоких гор, заросших лесом, скалистых, диких, обрамленных ма-ленькими водопадами и быстрыми потоками... Мы совсем одни, как в деревне в глухой провинции. Здесь не более четырех домов, и нигде далее глаз не видит жилья. Мне здесь нравится, я много лазаю, сопровождаю императрицу, которую тирольцы носят на стуле, и великую княгиню, ко-

торая к своей великой радости, взобралась на осла, которого находит очаровательным существом. Я ежедневно купаюсь в серной воде, воняющей дьяволом, пью отвратительные травы. Мы обедаем в 2 часа, ужинаем в 9, и в 10 я уже в постели. Надеюсь, это мудро и целительно...

Лечение и досуг императрицы, как и отдельные путешествия царской четы по Баварии, запечатлелись сопровождавшими их немецкими художниками. Позднее был напечатан сувенирный альбом, а в память посещения Романовыми Мюнхена баварский король приказал отчеканить медаль.

Скромная альпийская здравница, где императрица провела весь август, произвела на нее такое неизгладимое впечатление, что по прибытии в Петербург она распорядилась построить в своей усадьбе Знаменка на Петергофской дороге дом в баварском стиле и назвала его «Крейт».

Затянувшееся пребывание в королевстве преследовало еще одну цель, о которой не говорилось открыто, но в суть которой были посвящены затронутые ею персоны. Речь шла о возможной помолвке наследника баварского трона с дочерью Николая великой княгиней Ольгой. Сватовство не сложилось. Некоторое время спустя Ольга вышла замуж за вюртембергского кронпринца и стала королевой соседнего с Баварией государства. Но это произойдет позже, а пока, в 1838-м, при всех оказанных почестях, Николаю дали понять, что вопрос с Ольгой не складывается. И все же путешествие оказалось небезуспешным с точки зрения матримониальных забот императора. Ольга была не единственной его дочерью на выданье. Старше ее тремя годами была Мария, которая отказывалась выходить замуж за какого бы то ни было наследного принца, чтобы не расставаться с отечеством, родителями, любимым Санкт-Петербургом и не покидать лоно православной веры.

К ней-то и посватался родственник баварского королевского дома герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Он доводился внуком уже покойного к тому времени короля Макса Йозефа, но по линии отца — Евгения Богарне, приемного сына Наполеона, хоть и принадлежал к уважаемой знати, но не имел династических корней. Сестра Марии Ольга вспоминала:

Его происхождение со стороны отца, пасынка Наполеона, не было, конечно, блестящим. Мать его очень страдала, видя, что в Крейте, где вдовствующая королева Баварская Каролина строго придерживалась придворного этикета, ее сын был низшим по рангу. Так, например, он сидел на табуретке, в то время как все остальные сидели в креслах, и должен был есть с серебра, тогда как все другие ели с золота. Он только смеялся, совершенно не придавая этому значения. Папá же он понравился, и он надеялся, что Макс будет тем мужем, который последует за Мэри в Россию.

Что же касается самой Мэри, то есть Марии Николаевны, то она успела познакомиться со своим суженым годом ранее, когда тот побывал в Санкт-Петербурге и, по словам Ольги, был замечен Марией и понравился «во время маневров в Гатчине». Сложившийся мезальянс, как видим, всех устраивал и даже носил все признаки взаимной влюбленности; дело было решено: молодой герцог вслед за императорской семьей отправился в Петербург, где осенью того же года была объявлена помолвка.

Супруги Лейхтенбергские

Проходит немного времени, и великая княгиня Мария Николаевна, теперь уже герцогиня Лейхтенбергская, появляется с мужем в его родных местах — в Мюнхене и на Тегернзее. Они тепло приняты королевской семьей. В Тегернзее им предоставлены покои в резиденции. Марию Николаевну сразу восхитили

окружающие ландшафты: «Какое прелестное месторасположение... на берегу озера, окруженного высокими горами; одни покрыты снегом, другие лесами; или только голые скалы».

Посетила ли она лечебницу, где за два года до того провели месяц ее мать и младшая сестра? Но уж во всяком случае могла услышать воспоминания о Вильдбад Кройте от сопровождавшего ее графа Матвея Юрьевича Виельгорского. В 1838-м он был одним из тех, кто находился здесь в свите императрицы. Известный аристократ слыл талантливым виолончелистом. Сопровождая императрицу, а затем и ее дочь, он непременно брал с собой инструмент и устраивал музыкальные вечера.

Осенью 1840 года живущий в Мюнхене Тютчев делится новостями с родителями.

Великая княгиня с мужем проведут здесь зиму. Они прибыли в Мюнхен в первых числах сентября и вскоре после этого отправились вместе с вдовствующей королевой в Тегернзее, где они посеичас и находятся. Великая княгиня Мария Николаевна поистине очаровательна. Нельзя иметь более изысканный облик и вдобавок быть столь любезной и естественной. И потому она с первого взгляда пользуется общим успехом. Не говоря о свекрови, которая от нее без ума, вся королевская семья... приняли ее с большой любовью и, глядя на них всех вместе, можно подумать, что она всю свою жизнь провела среди них.

На петербургскую гостью, кажется, все производит самое благоприятное впечатление, в том числе и обаятельный Тютчев, и его поэзия, и, конечно, краски поздней осени, очень красивой в этих местах. Она в восхищении перечитывает тютчевские строки — «Есть в светлости осенних вечеров / Умильная, таинственная прелесть...» Стихотворение столь же «прекрасно», как и все вокруг: «И точно так: я наслаждалась... в Тегернзее осенними

вечерами... Горы, леса, небо и озеро казались вызолоченными, а солнца уже не видать».

Кроме супругов Лейхтенбергских в тот год на Тегернзее побывало немало высокородных гостей. Тютчев, проведший здесь с семьей летние месяцы, замечает: «...собралось великое множество иностранцев. Общение, праздники и развлечения зачастую казались даже чрезмерными. Мы там часто видали короля и королеву саксонских, дочь королевы, австрийскую императрицу, герцога Бордоского...»

Тютчев и аристократический круг

Сам Тютчев давно уже знал и облюбовал эти места. Восемнадцать лет от роду он прибыл в Баварию на дипломатическую службу, а в описываемом 1840-м году ему исполнилось 37. К тому времени поэт был уже второй раз женат (этот брак последовал после ранней смерти первой жены), и оба раза его избранницами становились местные красавицы и аристократки. Однако самая первая влюбленность на баварской земле сложилась неудачно. Ухаживания за совсем юной графиней Амалией Лерхенфельд ни к чему не привели, рука красавицы со временем досталась более родовитому, хотя и немолодому коллеге Тютчева барону Крюденеру. Поговаривали даже о какой-то дуэли, которая чуть было не произошла между Тютчевым и бароном. Но со временем страсти поутихли и отношения приняли добросердечный характер.

Описывая тегернзеевское лето 1840 года, которое закончилось приездом из Петербурга четы Лейхтенбергских, Тютчев вспоминает и эту супружескую пару.

...Мы всю предавались празднествам благодаря госпоже Крюденер, она приехала сюда месяц тому назад, и намедни мы справляли ее именины. Заботу обо всем взял на

себя принц Карл, брат короля. Он очень дружески расположен к госпоже Крюденер, а так как он к тому же чрезвычайно любезен, то не упустил случая нарочно приехать из Мюнхена, чтобы в день ее именин дать в ее честь большой обед, на который пригласил всех ее знакомых, находящихся в Тегернзее...

Крюденеры все это время были с нами, но теперь нас покинули, чтобы вернуться в Россию. Она все та же — красива и добра, как и прежде...

К тому времени барон Крюденер уже четыре года служил в Петербурге. Его красавицу жену российская столица встретила очень приветливо. Ни для кого не было секретом, что рожденная во внебрачном союзе Амалия доводилась через свою мать, герцогиню Мекленбургскую и княгиню Турн унд Таксис, двоюродной сестрой императрице Александре Федоровне.

Красоту и обаяние баронессы оценил и Пушкин. Ей же, в известной мере, он оказался обязан знакомством с творчеством Тютчева. В 1836 году, когда Крюденеры переезжали в Петербург, Амалия захватила с собой около ста стихотворений поэта. Об этом просил ее служивший некоторое время в Мюнхене князь Иван Гагарин (племянник посла). От Гагарина стихи попадают к Вяземскому и Жуковскому, от них к Пушкину, который начинает публиковать почти неизвестного поэта в своем журнале «Современник».

Проходит несколько лет. Тютчев, проживший за границей двадцать два года, возвращается в Россию. И очень скоро любое упоминание о Мюнхене или Баварии начинает вызывать «живейшее воспоминание», заставляет, по его собственному признанию, сжиматься сердце «от самой настоящей тоски по родине, хотя и в противоположном смысле». Он возвращается в 1859-м. Ненадолго, но возвращается.

Что же касается моего свидания с горами Тегернзее, то оно, конечно, преисполнено было меланхолии. У меня положительно нет достаточно жизненности, чтобы выносить подобные впечатления.

Годы спустя в Петербурге, уже на смертном одре, происходит трогательное прощание с баварской молодостью.

Вчера я пережил минуту жгучего волнения при встрече с графиней Адлерберг, моей чудесной Амалией Крюденер, пожелавшей в последний раз повидать меня на этом свете и приезжавшей проститься со мною. В ее лице то Былое, что связано с самой светлой порой моей жизни, явилось подарить мне прощальный поцелуй.

Граф и графиня Адлерберг

К тому времени Амалия снова сменила фамилию. Барон-муж, который был двадцатью двумя годами старше ее, умирает, и она выходит замуж за графа Николая Адлерберга, с которым познакомилась в петербургском свете. На этот раз избранник был на одиннадцать лет моложе. Николай Адлерберг, друг юности Александра II, востребован то на военном, то на гражданском поприщах, и на протяжении нескольких лет супруги живут в местах его службы — в Петербурге, в Финляндии, в Крыму...

В 1881 году, после гибели Александра II граф Адлерберг уходит в отставку, и в семье принимается решение вернуться в родные места Амалии. Они поселяются в Мюнхене, но вскоре приобретают участок на Тегернзее в пятнадцати минутах ходьбы от бывшего монастыря (королевской резиденции), где начинают строить большую виллу — с фруктовым садом, теплицами, конюшнями, выгонами для лошадей. В доме обустраивается православная церковь.

В 1888-м граф очень тяжело переживает смерть Амалии. Местом ее погребения выбирает кладбище в деревне Роттах-Эгерн, которое хорошо просматривается на противоположном берегу озера из окон его спальни. В домовый книгу оставляет грозную запись: тот, кто возведет строение, загораживающее вид на фамильный склеп, будет навеки проклят. Четыре года спустя его похоронили там же, над гробом повесили отделанную золотом саблю, подаренную ему в начале военной карьеры будущим царем Александром II.

Склеп был разобран в 1960-х годах, но и сегодня на кладбищенском дворе в Роттах-Эгерн можно увидеть надгробные плиты графской четы и их родственников. Памятная сабля хранится в музее городка Тегернзее. Частично сохранилась и усадьба, о чем напоминает надпись на одном из зданий: «Haus Adlerberg».

После смерти Амалии и ее мужа виллу унаследовал их сын — граф Николай Николаевич Адлерберг, гофмейстер и дипломат. В 1910 году он продает свое поместье сотруднику русского посольства князю Константину Мурузи.

Как и во времена Тютчева, Тегернзее все это время остается популярным среди российских дипломатов. В 1890-х тут снимает дачу посол Александр Петрович Извольский. И позднее, занимая уже иные государственные посты, он изредка бывает на любимшемся ему озере: здесь в 1896 году появилась на свет его дочь Елена, ставшая со временем активной католичкой византийского обряда в русском зарубежье, журналистом и переводчиком, здесь же Извольский принял участие в проходившем негласно совещании европейских политиков, где обсуждались назревшие вопросы накалявшейся мировой обстановки. Среди участников был тогдашний премьер-министр Франции Пуанкаре. Встреча происходила на вилле «Адлерберг», предположительно в 1910 году.

И снова Романовы

Еще одно «полулегальное» событие произошло на этой вилле несколько раньше — 8 октября 1905 года. В домашней церкви в присутствии узкого круга близких состоялось венчание великого князя Кирилла Владимировича и Виктории Мелиты Саксен-Кобург-Готской. Жених вспоминал: «Мы выбрали местом нашей свадьбы дом графа Адлерберга в Тегернзе*, около Мюнхена, куда 8 октября приехал духовный отец тети Марии...»

Необходимо объяснить, что «тетя Мария» — дочь Александра II, в замужестве герцогиня Эдинбургская и герцогиня Саксен-Кобург-Готская — доводилась не только родной теткой жениху, но и матерью невесте, из чего не составляет труда сделать вывод, что Кирилл и Виктория, внук и внучка Александра II, состояли в двоюродном родстве. Невеста к тому же приходилась внучкой английской королеве Виктории. Ко времени упоминаемых событий она добилась развода со своим первым мужем, родным братом русской императрицы, жены Николая II. Оба этих обстоятельства — близкое родство пары и почти скандальный развод Виктории — ставили их брак в разряд неугодных в глазах русского монарха. При этом против свадьбы не возражали матери жениха и невесты. В этих условиях решено было венчаться на «нейтральной» территории, и выбор падает на тихий закуток Тегернзее, где герцогиня «тетя Мария» время от времени проживала в своей очаровательной вилле «Sengerschloss» и где любезный граф Николай Адлерберг-младший предоставил паре свою домашнюю церковь.

«Церемония была очень скромной, — вспоминал Кирилл. — Присутствовали тетя Мария, кузина Беатриса, граф Адлерберг, камергер тети Марии господин Виньон, ее две фрейлины и

* Слово *See* (озеро) имеет в оригинале короткое произношение и в русском языке иногда пишется как *зе*; наряду с этим распространено также написание *зее*. *Вл. III.*

домоправительница графа». С опозданием из-за разразившейся непогоды из Мюнхена прибыл также дядя жениха, великий князь Алексей Александрович, который путешествовал в этих краях и даже не знал, в связи с чем племянник попросил его срочно приехать на Тегернзее.

«Свадебный пир продолжался полчаса. На дворе бушевала буря...» Буря разразилась и в двух монарших домах: в Зимнем и Букингемском. Брак не был признан, и потребовалось время, чтобы Николай II смирился с обстоятельствами и вернул кузену отобранные по этому случаю чины и привилегии, а также право проживать в Российской империи. Еще годы спустя, уже после расстрела царской семьи, Кирилл Владимирович увидит в своем лице единственного правомочного наследника российского престола и в 1924 году объявит себя монархом в изгнании Кириллом I.

«Тетя Мария»

За два года до описанной свадьбы герцогиня Мария купила на Тегернзее виллу «Sengerschloss». Может быть, среди прочего ее привлекло и то обстоятельство, что вилла была расположена не у воды, а на одном из альпийских склонов, с великолепным видом — на озеро, долину и обрамляющий ее с юго-западной стороны горный ландшафт.

Прежде на этом месте располагалось стрельбище, и в 1838 году к нему поднимался Николай I. Ему продемонстрировали свое мастерство местные стрелки, заодно царь имел возможность оценить открывающиеся сверху виды. Волею судеб возникшее здесь позднее поместье оказалось в начале XX века в собственности его внучки — герцогини Марии, а после ее смерти — правнучки (одной из дочерей «тети Марии») Марии Александры Виктории Эдинбургской, ставшей последней королевой Румынии.

В 1928 году королева продает виллу баварскому страховому обществу.

К тому времени гостями дома, который ныне входит в комплекс отеля «Das Tegernsee», побывали многие европейские правители, члены их семей и известные аристократы.

Узник замка Рингберг

Этот замок, расположившийся довольно высоко над озером (905 метров над уровнем моря), непременно притягивает взгляд. Издали просматриваются круглые каменные башни, угадывается архитектура канувших в Лету времен. Старожил, исконный хозяин, ветеран, защитник этих мест?

Не будем, однако, забывать, что старожил тут один — тегернзеевский монастырь, заложенный в середине восьмого века. А хорошо видный на противоположной стороне озера замок Рингберг — креатура XX столетия. История его причудлива, драматична и при этом скудна событиями.

В течение 60 лет, с 1912 по 1973-й, он находился в стадии развития: строился, расширялся, наполнялся картинами, фресками, гобеленами, мебелью, светильниками... За все эти годы в истории замка прописались, собственно, два имени: герцог Луитпольд и художник Фридрих Аттенхубер. Герцог был заказчиком, неутомимо вносящим новые идеи в строительную затею. Художник следовал его пожеланиям: проектировал фасады и интерьеры, наблюдал за всеми работами, заказывал материалы и нанимал рабочих, писал фрески и картины, создавал эскизы мебели и фарфора, был занят дизайном ламп и торшеров, разрабатывал и прописывал сюжеты для гобеленов... Архитектор, оформитель, дизайнер, прораб — в одном лице. И замковый узник.

Они познакомились, когда герцогу не было еще и двадцати. Отпрыск одной из боковых ветвей правившей в Баварии вительсбаховской династии, крестник принца-регента Луитпольда

и племянник австрийской императрицы Елизаветы (известной под домашним именем Сиси), герцог изучал философию, историю культуры. Тогда же проявил интерес к живописи и в какой-то момент пожелал брать уроки. Фридрих Аттенхубер, старше его тринадцатью годами, стал его учителем. Они подружились. Герцог приглашал художника в путешествия, вместе они осматривали музеи, памятники культуры. Вскоре его высочеством овладевает идея продать наследственную недвижимость — дворец в Мюнхене и усадьбу Поссенхофен на берегу Штарнбергского озера — и построить в горах Тегернзее виллу «в южном стиле». В 1912 году закладывается первый камень.

Художник с энтузиазмом откликается на этот план, еще не предполагая, что тот будет претерпевать бесконечные метаморфозы, и вилла, следуя фантазиям герцога, со временем начнет приобретать размеры и характер дворца, который, в свою очередь, станет принимать облик замкового сооружения. В этом будущем замке оборудуются комнаты для жилья и работы художника. Герцог появляется, чтобы увидеть сделанное и сформулировать новые пожелания. Сам процесс созидания становится основным стимулом его затеи, и в этом видится его очевидное сходство со знаменитым родственником, неутомимым строителем иллюзорных дворцов и замков Людвигом II (о нем — отдельный разговор в триптихе «Людвиг»). Проглядываются и другие черты, сближавшие его с покойным королем: менторское руководство строительством, покров таинственности, которым он окружает возводимый замок. В него не допускаются посторонние, и тот же художник имеет возможность принимать гостей не далее помещения кухни. Кроме него, в замке проживает только супружеская пара, ведущая хозяйство.

От герцога художник получил кров, еду и смутное обещание — в случае продажи замка ему достанется десять процентов вырученных денег.

Так проходят годы. В 1931-м художник обращается к старшему представителю виттельсбаховской ветви, к которой принадлежал герцог: «Из-за отношения, которое проявляет ко мне его королевское высочество герцог Луитпольд, я вынужден просить милостыню. Скромнейше прошу оказать мне помощь некоторой суммой». Ответа не последовало. И только четырнадцать лет спустя, за два года до смерти художника, Луитпольд все же назначает ему денежное содержание — сто марок в месяц.

Художник роптал и смирялся; менять что-либо он был уже не в силах, замок стал его роком — радостью и проклятьем.

Безденежье, однако, видится не главной болью художника. С годами он терял то яркое и выразительное, что содержало его творчество ранних лет, когда он был близок к среде Мюнхенского Сецессиона. Не без влияния вкусов покровителя его работы, прежде всего живопись, все больше приобретали черты традиционного верхнебаварского «домашнего стиля», на смену спонтанному выражению, как замечают исследователи, приходила фотографическая точность... Понимал ли это художник? Ощущал ли, что принес в жертву амбициозной идее герцога свой талант и тридцать пять лет жизни и труда?

Видимо, да. В декабрьский день 1947 года, года своего 70-летия, Фридрих Аттенхубер поднимается на одну из выстроенных им башен, окидывает последним взглядом ставший узилищем замок, долину, озеро, окрестные горы и бросается вниз.

Герцог переживает художника более чем на четверть века. Он так и не поселяется в замке. И, кажется, не спешит с его завершением. Он все еще неистощим на новые идеи, и работы продолжают вплоть до его смерти в 1973 году.

Отсутствие наследников заставляло его задумываться о будущем замка, и в 1967-м герцог Луитпольд заключает договор с Обществом Макса Планка о передаче ему после своей смерти

прав собственника*. Он покидает мир с утешительной мыслью, что оставляет после себя «последний памятник романтизма».

Операция «Колибри»

Нарождавшаяся с конца 1920-х годов «аристократия» нового типа тоже не обошла вниманием благодатный край. Нацистские боссы, партийные функционеры охотно поправляют здоровье в тегернзеевской долине или приобретают в ней и ее окрестностях дома. Однако под сенью диктатуры рай легко оборачивается адом. Это испытал на себе лечившийся в одном из санаториев в Бад Висзее командир штурмовых отрядов Эрнст Рём, «наци первого часа», как обозначали самых ранних и верных соратников будущего фюрера. А может, даже не успел ничего понять, когда в половине седьмого утра к нему в номер неожиданно вошел невесть откуда взявшийся Гитлер, объявил предателем и велел арестовать. Около суток еще понадобилось фюреру, чтобы преодолеть последние колебания, прежде чем отдать приказ покончить с человеком, при преданной поддержке которого начинал он свое восхождение. Одновременно проведены были расстрелы других высокопоставленных штурмовиков.

Операция «Колибри» или, как стали называть эту расправу позднее, «Ночь длинных ножей» проводилась в последних числах июня — начале июля 1934 года. Пришедшая незадолго перед тем к власти нацистская верхушка разрешала назревшие в своих рядах политические и полномочные разногласия, заодно давала урок своим гражданам и приучалась перешагивать через трупы оппонентов. Нацию превращали в «наци».

* Замок используется Обществом, объединяющим более 80 исследовательских институтов и центров, в качестве международного конференц-центра и отеля. Приобретение замка Обществом отчасти связано с тем, что знаменитый физик, чье имя оно носит, проводил летние месяцы в Бад Висзее.

Александр Шморель

Сохранилась фотография, сделанная на Тегернзее за три года до расправы с Рёмом. На берегу озера за столиком прибрежного кафе мирно сидит несколько человек — взрослые и дети, мюнхенцы, решившие отдохнуть на природе, и гости издалека. Здесь ближайšie родственники Бориса Пастернака — приехавшая из Москвы на лечение жена поэта с их сыном и жившая в ту пору в Мюнхене его старшая сестра Жозефина с мужем, а рядом их друзья — семья по фамилии Шморель. На переднем плане слева выделяется ее молодой отпрыск Александр Шморель, юноша неполных 14 лет. Он одинаково хорошо говорит по-русски и по-немецки. Родился в Оренбурге, отец из обрусевших немцев, мать, которую Александр потерял рано, была русской. В Германии оказался четырех лет отроду, когда отец женился вновь и решил покинуть Россию.

Лето 1931 года... Две семьи, связанные давней дружбой, выехали за город. Озеро, прогулка, разговоры за столиком приозерного кафе... На шкале истории — полтора года до пришествия фашистов к власти, еще несколько лет до вынужденного бегства евреев Пастернаков в Англию и двенадцать лет до того дня, когда Александр Шморель будет казнен с друзьями за участие в антифашистской студенческой группе «Белая роза».

Некто Барановский, или Потаенное серебро

Вторая мировая война превратила долину Тегернзее в переполненный лазарет. Но и в это время в ней не утихает русская речь. Осенью 1944-го здесь поселился некто Николай Эразмович Барановский. Прибыл с супругой и, надо полагать, не без помощников, поскольку кроме личных вещей в его багаже насчитывалось еще 24 плотно заколоченных деревянных ящика.

Николай Эразмович приехал из Белграда, где состоял при Управлении по делам русской эмиграции. Это ведомство долгое

время распоряжалось бывшей казной Врангеля, первоначально представлявшей Петербургскую ссудную кассу, вывезенную белым генералом за границу. Казна к тому времени изрядно истощилась, но все еще представляла немалую ценность. Врангель умер в 1928 году. К 1944-му, о котором идет речь, важнейшей фигурой русской эмиграции стал генерал Власов. Ему и передано было право дальнейшего распоряжения этим капиталом, который решили припрятать в альпийской глубинке — под наблюдением Барановского.

В мае 1945-го смотритель казны получил указание переправить потаенный груз в Австрию и в сопровождении власовских солдат покинул Тегернзее. Дальнейшее путешествие ящиков с драгоценностями не лишено приключений, но некоторое время спустя они вернулись в Баварию, на этот раз в Мюнхен. К тому времени Власова, попавшего в руки советских солдат, уже не было в живых, и американская военная администрация решила передать остатки казны в распоряжение русской эмиграции. Последним ее хранителем стал Петр Владимирович фон Глазенап, в прошлом офицер императорской армии и генерал-лейтенант Белого движения. Деньги от продажи драгоценностей (в основном упоминается серебро) предназначались для нужд эмигрантских организаций и отдельных лиц.

Один из «стаи славных»

Ближе к концу войны к сотням раненых в долине Тегернзее стали массово добавляться беженцы. Среди них мы снова встречаем русских, один из них — философ Федор Степун.

Тем, кому это имя пока ни о чем не говорит, процитирую Горького: «...это один из той „стаи славных“ настоящих, московско-русских интеллигентов и земли русской праведников, которые ныне никому и ни к чему не нужны...». Сказано под впечатлением высылки Степуна из России. Это произошло в

1922-м. Степуну было 38 лет, в послужном списке — сражения на фронтах Первой мировой (и четыре наградных ордена), руководство политуправлением Военного министерства Временного правительства летом 1917 года. Фронт и политика прописались в его биографии по требованию времени, профессиональные же интересы Федора Степуна, выпускника Гейдельбергского университета, лежали в области философии и культурологии. То и другое и обеспечило ему от большевистской власти ярлык «ярого и активного врага» и билет на «философский пароход». В числе большой группы российской интеллигенции он был выдворен за границу.

С тех пор жил и преподавал в Германии — в Берлине, потом в Дрездене. В 1937-м признан гитлеровским режимом политически неблагонадежным, к тому же проявляющим «дружелюбие к евреям» и отправлен в отставку — без права выступлений перед публикой и в печати*.

С приближением Восточного фронта Степун с женой перебирается в Альпы — в деревню Роттах-Эгерн. По иронии судьбы он находит здесь временное пристанище на улице, носящей имя фюрера. Улицы с названием «Адольф-Гитлер-штрассе» встречались едва ли не в каждом населенном пункте, и только в январе 1947 года на первом послевоенном заседании совета общины Роттах-Эгерн центральной магистрали вернули старое название — Зюдлихе Хауптштрассе.

После разрушительных бомбежек Дрездена до Роттаха добралась и сестра философа — оперная певица Маргарита (Марга) Степун. С ней приехала ее неразлучная подруга — писательница и поэтесса Галина Кузнецова, известная также как «последняя любовь» Бунина. «Жить им было негде, — вспоминал Федор

* Об этом, в частности, сам Степун упоминает в анкете: Arolsen Archives. International Center on Nazi Persecution. Digital Collections Online. Поиск: Stepun Fedor, документы 79814023, 79814024, 79814025.

Августович, — и я наобум вошел в богатую виллу, зная, что там живет с двумя дочерьми всего только одна нарядная барыня. Мне ее удалось уговорить, и Марга с Галей переехали к ней».

Весной 1947 года Степун с женой переезжают в Мюнхен, где годом ранее Федор Августович получил профессорскую должность в университете.

В мае 1953-го в Баварии появляется давний знакомец Степуна, в прошлом глава Временного правительства Александр Федорович Керенский. Они встречаются в Мюнхене и какое-то время проводят вместе в Бад Висзее — на западном берегу озера. Выбор этого курортного городка был не случаен — в нем проходило совещание «Координационного центра антибольшевистской борьбы», созванное для разрешения противоречий между эмигрантскими политическими группами. Противоречия, однако, оказались непреодолимы, и само собрание, по словам очевидца, политолога А. Авторханова, превратилось «в арену бесконечной дуэли между двумя депутатами бывшей Государственной Думы: Керенским и Гегечкори».

В переключке веков

Тем временем военные раны затягивались, жизнь в этих местах возвращалась в привычное русло, и тегернзеевская долина вновь обретала в глазах ее обитателей и паломников свое истинное величие.

В декабрьские дни 1970 года здесь побывала писательница Мариэтта Шагинян. Носительнице высоких советских званий и орденов, разумеется, тяжело дышалось воздухом западного мира: «Нигде в Европе я не испытывала так остро временности, преходящести, непрочности капиталистической общественной системы, как во дни пребывания своего в Федеративной Республике Германии». Но даже это не помешало ей оценить подлинное очарование альпийской долины.

Тысячи людей много десятков лет смотрели, должно быть, на синее зеркало Тегернзее, закутанное сейчас в белоснежные берега; кормили всю летучую живность на нем, избалованную туристами, — орущих чаек, величавых лебедей, почему-то черным-черных уток, плывущих стаями и похожих на рыб. На тысячи людей смотрела сверху и эта невозможная красота горных вершин, по буквам зная, что обязательно произойдет: люди вылезут из повозок, пройдутся по бережку и, пройдясь, войдут в баварский, разрисованный и принаряженный в национальном стиле дорогой ресторан «Юберфарт» («Переезд»), собственница которого, красивая баварка в народном костюме, сама их обслужит и цветную рекламу отеля подарит. Так было, по крайней мере, с нами. Наверное, — в той или иной степени — так было и свыше полувека назад, когда я впервые знакомилась с Баварией.

В переключку веков над Тегернзее вписали свою ноту и русские музыканты. Когда-то в этой долине звучала виолончель графа Виельгорского, сопровождавшего сюда императрицу Александру Федоровну, а затем и ее дочь. Жемчужиной коллекции инструментов графа была виолончель работы Страдивари. Не берусь утверждать, что именно с ней путешествовал он в Баварию в 1838 и 1840-м, однако, учитывая высочайший ранг этих вояжей, вполне могу это предположить.

Было ли известно о концертных вечерах Виельгорского Мстиславу Ростроповичу и его именитой ученице Наталье Гутман, когда их виолончели зазвучали в Вильдбад Кройте? С 1990 года на протяжении двадцати с лишним лет Наталья Гутман проводила здесь ежегодный фестиваль с участием многих звезд музыкального мира. Праздник музыки посвящался памяти ее мужа, скрипача Олега Кагана. Выдающийся музыкант рано ушел из жизни, в окрестностях Тегернзее прошли его последние

месяцы и здесь, за три дня до смерти, он последний раз брал в руки скрипку.

И, наконец, новейшая эпоха не преминула отозваться звонкой русской цитатой в «книге отзывов» Тегернзее. В 2006-2016 годах частым гостем на берегах озера становится Михаил Сергеевич Горбачев. Он навещает в Роттах-Эгерн, где его дочь в это время владеет виллой «Hubertus». Местные жители запомнили его прогуливающимся по улочкам деревни или на вершине соседней горы Валлберг. Он держится просто, отвечает кивком, если видит, что к нему присматриваются, узнают... Судя по всему, долина Тегернзее — с ее альпийской природой, местным укладом, обликом колоритных селений — производит на выходца из ставропольской глубинки неизгладимое впечатление. «Баварцы, — замечает Горбачев, — живут в раю. Единственные, кто этого не знает, сами баварцы».

ПРАЗДНИЧНОЕ НАЧАЛО ДНЯ

Баварец старых времен рождался, пил пиво и умирал...
Новая Вюрцбургская газета, 1868

22 февраля 1857 года у мюнхенского трактирщика Йозефа Мозера случилась неприятность. Зал был переполнен, у дверей толпился веселый и проголодавшийся люд. Шел последний день карнавала, и, как обычно, вся площадь Мариенплац, на которой находился трактир, кишела народом — большинство в масках, карнавальных костюмах; все были настроены в канун Великого поста на последние часы веселья с выпивкой и обильной закуской. Неприятность трактирщика заключалась в том, что на кухне закончились запасы нужных кишок для фаршировки. Под рукой оказались тонкие, непригодные для скороды. Отчаявшийся повар наполнил их фаршем, ужаснулся, увидев вместо стройных колбасок неказистые, толстенькие обрубки, и бросил их в воду. Перед кипением, пока они не начали лопаться, снял кастрюлю с огня, да так и отнес с содержимым к столу... Плавающих колбасок в Мюнхене еще не видели, и Йозеф не без основания опасался скандала. Но, к его изумлению, посетители попросили добавки... Это уже потом выяснилось, что подобное блюдо пользовалось популярностью во Франции в XIV веке, а во времена Наполеона было возрождено в трактирах Гамбурга. Но мюнхенский трактирщик и его последователи ничего этого не ведали, и нужно отдать им должное — подошли к своему открытию творчески: стали совершенствовать рецептуру, определили доми-

нирующий процент телячьего фарша, добавили мелко нарубленную петрушку, отказались от содержащей нитриты соли (отсюда бело-серый цвет сарделек), подобрали с их точки зрения идеальный балансирующий напиток — пшеничное пиво... Постепенно были отточены и правила сервировки: сладкая «домашняя» горчица, крендель (брецель) и время подачи на стол — завтрак или, во всяком случае, первая половина дня.

Баварцы предпочитают эту милую их сердцу «белую колбаску» (*Weißwurst*) надрезать, взять в руку, обмакнуть в сладкую горчицу и смачно втягивать в себя содержимое из оболочки, запивая глотками прохладного пива (*Weißbier*) и закусывая брецелем... Но они не обидятся, если кто-то будет пользоваться ножом и вилкой: понимают — чужеземцы...

Люблю Мюнхен по воскресеньям. Хотя каждый город в воскресный день прихорашивается, снижает нервный ритм суеты, пустеет. А баварская столица празднично озвучивается колокольными перезвонами. Немцы семьями отправляются побаловать себя белыми сосисками со сладкой горчицей. Вкусить янтарного пива. Для балетной братии пиво — лучше всякого лекарства. Расслабляет мышцы. Приносит отдых мускулам...

Майя Плисецкая, 1990-е

Трапеза — почти ритуал, канонизированный в деталях: только две-три белых колбаски (иногда мы называем их сосисками, но баварцам лучше этого не слышать), только с пшеничным пивом, налитым в вытянутый полулитровый бокал, и только до обеда... И более того — само это кулинарное чудо находится под высочайшим покровительством.

В этом легко убедиться, заглянув на сайт мюнхенской корпорации мясников. Там можно увидеть портрет «Королевы белых колбасок» — она избирается каждый год. Революция 1918 года

отменила в Баварии институт династических королей, но не цеховых (по профессиям) и не общежитейских (по интересам). Баварцы регулярно выбирают королей пива, хмеля, картошки, спаржи, капусты, сыра, карнавала... И замечу: все коронованные особы молодые и красивые.

Праздничная баварская трапеза не только сытна, но и обещает хорошее настроение на предстоящий день.

Приезжие часто задаются вопросом, почему именно Бавария славится своим пивом, в чем его тайна. Уверен: в первую очередь в том, что здесь сложился счастливый союз талантливого производителя и не менее одаренного потребителя.

Начнем с пивоваров. Их главная уловка проста и сводится к трем словам — вода, зерно, хмель. Из них варится пиво, а какие бы то ни было добавки, которые позволяют себе по собственному вкусу и разумению мастера во всем мире, здесь неприемлемы. Правилу трех ингредиентов баварцы верны уже более пяти веков.

Некоторые пивовары и до баварцев догадывались, что в напиток лучше ничего не подмешивать, что он самодостаточен, если приготовление ограничить теми компонентами, без которых его вообще невозможно сварить. Но еще больше пивоваров, и в той же Баварии, добавляли по личным пристрастиям или расчетам то можжевельник, то петрушку, в ход могли пойти тмин, соль, кориандр, табак, а то и белена или красавка, подливали телячью желчь и многое иное. Этот простор выбора в Мюнхене сохранялся довольно долго, пока в 1447 году городской совет не объявил, что лицензия на продажу пива отныне будет выдаваться только тем, кто варит его без примесей. Сорок лет спустя важность мюнхенского нововведения была подтверждена предписанием баварского герцога. А 23 апреля 1516 года герцогским указом правило трех ингредиентов приобрело форму общебаварско-

го закона. Разлив суррогатных напитков оказался под запретом, и это вето осталось на века. Пиво превратилось в напиток чистокровный и благородный и стало еще более любимо во всех условиях — от простолюдина до герцога.

Бывало, что в течение пяти столетий допускались некоторые отклонения, вводились корректировки, но закон 1516 года оставался и сегодня остается эталоном, гарантом изготовления натурального, здорового напитка. На его строгих ограничениях уже более ста лет базируются и общегерманские пивные нормативы.

«*Свежо предание...*» Трудно избежать недоверия, когда тебе предлагают в Нюрнберге «красное» пиво, а в Бамберге, например, «копченое». Да и на вкус — одно горьковатое, другое мягкое, а третье отдает «банановой ноткой». Одно крепкое, другое еще крепче или наоборот. Одно светлое-полупрозрачное, другое янтарное, третье мутное или просто темное... Одно в бочках, другое в бутылках или в банках... Банки особенно подозрительны и внушают мысль о консервантах, посторонний вкус чувствуется уже при первом глотке...

Однако, если баночное пиво перелить в бокал и тем самым избежать соприкосновения губ с металлическим ободком, напиток не будет отличаться ни от бутылочного, ни от бочкового. Разумеется, в любом варианте пиво должно подаваться охлажденным. И конечно, очень важно, чтобы оно было свежим и хранилось в прохладе и темноте.

Каждая разновидность напитка, а полторы тысячи пивоваренных заводов Германии производят сегодня семь тысяч сортов продукции, — результат сложных технологических манипуляций при неизменной рецептуре, куда входит, как помним, вода (составляет 90% пива, берется обычно из артезианских колодцев), хмель (самые большие плантации в мире, славящиеся к тому же высоким качеством, находятся в Баварии) и солод на основе зерна (ячмень или его смесь с пшеницей). К этому переч-

ню надо добавить дрожжи, которые после исследований Луи Пастера пришли на смену старой закваске.

Кроме открытий в области брожения наука и техника XIX столетия дали пивоварам возможность отказаться от работы с открытым огнем, внедрить охладительную технику (разработки мюнхенского профессора Карла фон Линде), электричество. Процесс производства претерпел изменения революционного характера. Одним из флагманов модернизации становится основанная в конце XIV века мюнхенская пивоварня Шпатен. За ней не отстают Хофброй, Августинер, Пауланер, Лёвенброй, Хакер-Пшорр.

Сегодня баварское пивоварение представляют около 630 фабрик. Отдавая им должное, обратим внимание, что эта земля плодородна не только одаренными пивоварами, но и не менее талантливыми и богатыми на выдумку ценителями и знатоками пенящегося напитка. Проще говоря, теми, кто его умеет пить — охотно и празднично. Баварское пивоварение во многом обязано им своим престижем.

Вообще достоинство мюнхенского пива зависит не от способа приготовления, а от атмосферы, разлитой повсюду: пивом веет здесь воздух, и золотой закат хмелит, как пиво. Можно сказать: мюнхенское пиво — это отстоенный, золотой закат, и мюнхенцы идут в пивную, чтобы предаться бездумному закатному очарованию...

Андрей Белый, 1906

Одна из давних и замечательных местных пивных традиций называется *Stammtisch*, что обозначает место и группу людей, регулярно общающихся за кружкой пива в своем любимом заведении.

В залах нижнего этажа самой знаменитой мюнхенской пивной Хофбройхаус обращают на себя внимание многочисленные

вывески над столами с названиями таких групп: «Старые баварцы», «Завиралы» (*Lügenbarone*), «Форстенридовские сплетницы» и т. д., и т. д. На задней лестнице располагается галерея групповых портретов с указанием имен, года основания группы, дня регулярных встреч за пивным столом и, конечно, объединяющего эту компанию девиза. У «Сплетниц» — известное изречение, вывернутое на женский лад: «Одна за всех и все за одну!», у других — «Виват, Бавария!», «Мы есть мы», «Живи и дай жить»... Некоторые группы вывешивают над столами портреты кумиров. Среди них встречаются король Людвиг II, покровитель Вагнера и строитель знаменитого замка Нойшванштайн, или сменивший его на троне и ставший необыкновенно популярным принц-регент Луитпольд, а также другие — известные и малоизвестные герои баварской истории.

Многие из завсегдатаев приходят сюда в народной одежде. Как правило, пьют из собственных литровых керамических кружек, которые хранят в личных ячейках пивной. У них есть и своя «валюта» в виде жетонов, каждый из которых «конвертируется» в «масс» пива* только в их родном Хофбройхаусе. Они приветливы, добродушны, давно привыкли к толпам любопытных туристов.

За столом постоянных посетителей, уважаемых посетителей, за большим столом посредине большой пивной, хорошо пьется настоящее мюнхенское пиво, замечательное мюнхенское пиво. Молчаливые баварцы посасывают свои замысловатые трубки за столом постоянных посетителей. Редко-редко обронит кто-нибудь из этих почтенных посетителей слово, да и то такое, что только баварец и поймет: тут свой язык. И одежда — своя, баварская. И обычай — кто допил кружку, тому без лишних вопросов ставится новая,

* Старое обозначение объема кружки, сегодня соответствует одному литру.

полная пива. Таких, кто спрашивает полкружки, нет за столом постоянных посетителей. Если такой попадет в пивную, гордая баварка, та, что разносит пиво по столам, ответит: — Приходи, когда научишься пить целую.

Михаил Слонимский, 1932

Сердце мюнхенца обращено к пиву, и я уверен, что и в жилах мюнхенца течет пиво и только пиво... Рабочий выпивает до семи литров в день, и социал-демократы полагают, что революцию здесь можно вызвать только единственным средством: поднять цену на пиво хотя бы на один только пфенниг. Пиво — истинный бог, и народные песни, прославляющие пиво, распеваются всюду в дионисианском иступлении.

Андрей Белый, 1906

Тонкий наблюдатель, поэт и критик Андрей Белый проводит в Мюнхене два осенних месяца 1906 года. Тогда же записывает свои впечатления. Но в 1930-х добавляет к давним воспоминаниям умозрительное рассуждение: с началом Первой мировой войны «...лик „мясника” приподнялся над кружкой употребителя пива».

И все же не пиво делает человека «мясником» истории, также как не вино стало причиной больших и малых французских революций и не водка виной всех потрясений России. В привычном нам варианте «лик мясника» вписался бы в интерьер строгого актового зала. Но в Баварии пивная — пространство общественное, где традиционно проходили и проходят разнообразные собрания, в том числе политические, профсоюзные, цеховые. Пиво, разумеется, разливается бесплатно. И не «только членам профсоюза»...

Однажды мне довелось принимать участие в забастовке городских служащих. На центральной площади, где проходил шумный митинг, организаторы время от времени объявляли, что

в пивной Августинер зарезервирован зал. Не дожидаясь конца мероприятия, мы с коллегами направились туда. Кельнер принес всем по кружке пива и вежливо осведомился, состоим ли мы в профсоюзе. Сразу же вспомнились Остап Бендер и Шура Балаганов, которые в похожей ситуации вынуждены были «удовлетвориться квасом». Тут же, впрочем, выяснилось, что пиво подают всем, а вот половинку жареного цыпленка бесплатно могут получить только обладатели профсоюзного «аусвайса». Примечательно, что из различных возможных определений «бесплатно» (*kostenlos, umsonst*) за разливаемым в таких случаях пивом утвердилось выражение «Freibier», где *frei* (фрай) — производное от слова *Freiheit*, означающего свободу и независимость.

Мюнхенские пивные залы нередко становились местом действия ключевых событий. С кружкой «фрайбир» в руке лидер буржуазно-демократической революции Курт Эйснер провозгласил в пивной Матэзерброй (*Mathäserbräu*) независимость от монархии: «Бавария отныне свободное государство!» (*Freistaat Bayern*). Это произошло 8 ноября 1918-го, а в апреле следующего года под сводами Хобройхауса Совет солдат и рабочих объявил о создании Баварской коммунистической республики (ей довелось продержаться очень недолго). Осенью 1919-го в пивной Хофбройкеллер прозвучала первая политическая речь никому пока не известного Гитлера. В феврале следующего года, на этот раз в банкетном зале Хофбройхауса, он же от лица Рабочей партии зачитывает программу национал-социализма.

Слова *пиво, пивная, бунт* порой оказываются рядом. Но связь между ними далеко не всегда трактуется корректно, и один из очевидных примеров — так называемый «пивной путч».

В ноябре 1923 года в большом зале Бюргербройкеллер отмечалось пятилетие революции в Германии. За пивными столами высшие чины Баварии обсуждали тягостное послевоенное положение и резко критиковали берлинское правительство. Неожиданно

данно в зале появился Гитлер — с кружкой пива, которую он тут же демонстративно бросил, и с пистолетом, из которого для привлечения внимания выстрелил в потолок. Забравшись на стул, недавний ефрейтор прокричал, что здание окружено штурмовыми отрядами, после чего стал требовать поддержать начатую им «национальную революцию» и бросить силы против Берлина. Дальнейшие события известны своими драматическими последствиями: движение гитлеровских молодчиков по улицам города, перестрелка и гибель людей — как со стороны бунтовавших, так и тех, кто их усмирал.

Возникает вопрос: кто же был под хмельком, правительство или окружившие пивную путчисты? И имеет ли это значение, когда и школьнику понятно, что пружиной происходившего были тяжелейшие внутренние процессы послевоенных лет? На следующий день газеты пестрели заголовками: «Бюргерброй путч», «Мюнхенский путч», чаще «Путч Гитлера». Так и осталось в немецкой литературе. В русской же закрепился саркастический акцент: *«пивной путч»*. Одурманенные пивом штурмовики подняли мятеж? Но с таким же успехом можно было бы утверждать, что театрально брошенная Гитлером кружка означала: хватить пить, господа, пора браться за дело...

В истории Германии и в городской хронике Мюнхена, действительно, известны «пивные» смуты. В приведенной выше цитате Андрея Белого (*«революцию здесь можно вызвать только единственным средством: поднять цену на пиво хотя бы на один только пфенниг»*) содержится скрытая отсылка к одному из таких событий. Весной 1844 года, когда из-за недостатка зерна были повышены цены на хлеб и на половину крейцера возросла стоимость «масса» пива, в городе возникли неслыханные беспорядки. Толпы жителей, недовольные в первую очередь подорожанием «жидкого хлеба», бросились громить пивные фабрики и трактиры, затем ринулись к арсеналу и захватили оружие. Что с

ним делать, кажется, мало кто понимал, и потому «революционный» люд легко поддался увещательным речам вышедшего к нему его королевского высочества принца Карла, брата короля Людвига I, сложил оружие и не отказался от «фрайбир», которое тотчас подвезли по указанию находчивого миротворца. Сам же король был не на шутку напуган: полиция и военные явно сочувствовали восставшим, но больше всего его поразило, что люди стали бросать камни в сторону резиденции. «Никогда еще, — писал он одному из приближенных, — с тех пор, как стоит Мюнхен, не было брошено ни одного камня в окно суверена». Однако этот камень напомнил Людвигу, что пиво для баварца не роскошь, а жизненно необходимый провиант. Цены были сразу возвращены на прежний уровень. А полгода спустя король продемонстрировал еще один, предусмотрительный, жест щедрости: распорядился снизить стоимость баварского «масса» в придворной пивной, «чтобы военным и рабочему классу» был доступен «здоровый и располагающий к прекрасному самочувствию напиток».

В одном из сатирических журналов 1849 года, когда подводились итоги недавнего революционного брожения в Европе, была опубликована шутивная «Мюнхенская Марсельеза». В подстрочном переводе она может звучать так: «Друг, я доволен / Все так, как я желал, / Здесь, с пивом и кноделем / Живется мне радостно и спокойно. / Некоторые хотят Свободы, / Жаждут народных прав; / Но только спокойствие — / Золотая ценность!».

Массовые беспорядки под воздействием пенящегося напитка случались редко, но от инцидентов частного характера не застраховано ни одно питейное заведение. По-своему примечательны истории, которые происходили в баварских трактирах с русскими художниками.

В 1843-м по указанию генерала Л.И. Киля, курировавшего в Мюнхене от имени российских властей художников-стажеров,

Германию пришлось покинуть скульптору Федору Степанову — «вследствие... резкой патриотической выходки» в одной из пивных. Подобную историю рассказывают и о баталисте и витражисте Владимире Сверчкове. Но, пожалуй, самая колоритная легенда на эту тему сложена современниками о нашем знаменитом живописце Иване Шишкине, в ту пору бывшем еще в расцвете молодости. В Мюнхен он приехал в 1862 году как стипендиат Императорской академии художеств. Захаживал и в пивные, где однажды услышал, как «немцы стали подтрунивать над русскими и Россией»... Дальше произошли неприятности, выбраться из которых Шишкину помог живший здесь русский баталист Александр Коцебу. Со слов последнего эту историю описал художник Василий Верещагин.

Как-то раз мне дали знать, что русский художник, арестованный ночью в уличной драке, ссылается на знакомство со мною. Полицеймейстер, которого я хорошо знал, просил прийти и, коли я действительно его знаю, заявить об этом, потому что против малого могут быть приняты строгие меры. Прихожу в полицию — Шишкин! И в каком виде! Волосы вскочены, в грязи, ободранный, одного рукава нет, фалда сюртука висит... Шишкин, говорю, с вами случилось несчастье, мы поправим его. Пожалуйста, расскажите, как было дело? — Оказалось, что он был виноват только вполовину, так как был трезв, не буянил и, задевший, слишком близко принял это к сердцу. По моей просьбе полицеймейстер обещал замять это дело и затруднялся только историей с ружьем: в пылу схватки Иван Иванович выхватил у подошедшего разнимать ссору полицейского ружье, стал им воевать и сломал его — это было серьезно. С грехом пополам все уладили, на условии, что мы заплатим как всем потерпевшим, так и за злосчастное ружье. Когда вызвали этих «потерпевших», я был поражен их количеством: тут был люд всякого звания, всяких возрастов, и дравшиеся, и пробовавшие разнимать, с завязанными ску-

лами, глазами, головами, с подвязанными руками и хро-мые — длинной вереницей стали они проходить предо мной, показывать синяки, ссадины и всяческие увечья. Я торговался сколько мог, сердился, бранился и просто глазам своим не верил — так много было действительно пострадавших. — Шишкин, — говорю, — да неужели же это вы... обидели столько народа? Он скромно потупился. Заплатить Ивану Ивановичу пришлось немало, и вскоре после того он уехал из Мюнхена.

В другом изложении финал этой истории завершается мирным поднятием тяжелых баварских кружек: «Суд оправдал Шишкина, а немецкие художники отнесли его из зала суда в ближайшую пивную, где и воздали должную честь талантливому собрату и доброму патриоту».

«У баварцев земное отношение к религии, — заметил один из современных германских теологов (Иоганн Метц), — и мистическое к пиву». По этому поводу можно улыбнуться и добавить, что, по-видимому, имеются в виду светские баварцы. Что же касается церковных людей и монашеской братии, то они испокон веку с равным усердием и молились, и варили пиво. «Жидкий хлеб» всегда расценивался ими как продукт питания — не только для поддержания жизненных сил, но и для душевной радости. В монастыре Андекс до сих пор сохраняется пивной девиз: «Наслаждение для души и тела». Пивные бочки выкатывались из подвалов к монашескому столу, выставлялись для паломников, а при наличии спроса продавались в соседние трактиры. В Мюнхене славились монашеские марки «Августинер», «Пауланер», «Францисканер». В XIX веке они перешли в светские руки, но несколько монастырей Баварии — Андекс, Этгаль, Вельтенбург и другие — и сегодня продолжают заниматься изготовлением древнейшего напитка. К слову сказать, история пивоварни Вельтенбург прослеживается с 1050 года, что позволяет

считать ее старейшей в мире из сохранившихся монашеских пивоварен*.

И речь может идти не только о мужских монастырях. Одна из старинных немецких поговорок упоминает о ликовании монахинь-клариссинок, получивших право на изготовление хмельного напитка (*Den Nonnen von Santa Clar gewährten zwei Herzog von Baiern, dass sie ihr Bier sich selbst brauen; drob gab es viel Jubel und Feiern*). В Нижней Баварии и в наши дни варится пиво в монастыре Маллерсдорф, где проживают сестры католического ордена «Бедных францисканок Святого семейства». Пожилая сестра Дорис, единственная монахиня-пивовар в Баварии, признается в одном интервью, что по утрам все-таки пьет кофе, но вот вечером — обязательно пиво.

Так куда же текут баварские пивные реки: в мутный омут бунта или к островку монашеской умиротворенности? Кажется, ответ банален, как и вопрос: все зависит от количества. Но и это не совсем точная формулировка. Как и с водкой — один разбуянился, другой прослезился и заснул. Золотую середину распознали зоркие на глаз революционеры — Ленин и Крупская.

Особенно охотно вспоминаем мы мюнхенский Хофбройхаус, где в хорошем пиве размываются классовые различия.

Надежда Крупская, 1901

Сказано это в то время, когда в Мюнхене издавалась газета «Искра». Годы спустя, в августе 1913-го, марксисты-поклонники баварского пива оказались в Мюнхене проездом, у них было всего несколько часов между поездами, и большую часть времени решено было провести с друзьями в Хофбройхаусе. Пиво, на-

* Сам монастырь на четыре с лишним века старше; очевидно, что и пиво в нем варилось значительно раньше, но 1050-м годом датируется письменное упоминание о пивном производстве.

хлынувшие воспоминания, сама атмосфера старинной пивной — все поднимало настроение, и Крупская стала шутливо расшифровывать аббревиатуру латинских букв «НВ» (*Hof* и *Bräu*) на кириллический лад: «Народная Воля». Над супругом, который с улыбкой поглядывал на добродушных баварцев в коротких штанишках и украшенных перьями шляпах, подтрунивала: «Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя...»

Шутка Крупской, вольно или нет, отражает «народность» пивной культуры Баварии — культуры, но не культа. В нее органично вплелись традиционные наряды, фольклор, музыка, танцы и, конечно, многочисленные пивные праздники: дни пивоваров (отдельно баварских и всех немецких), весеннее (в честь крепкого пива в период поста) празднество *Nockherberg*, ежегодно отмечаемая годовщина принятия «пивного» закона 1516 года, грандиозные гуляния «Октоберфест», история которых начинается в 1810 году.

Вчера я был свидетелем славного мюнхенского праздника *Octoberfest*, учрежденного здесь в 1810 году в воспоминание и в честь свадьбы нынешнего короля с королевою. Народу было на огромном лугу (*Teresienwiese*) больше 60 000. Со всего государства собраны были лучшие лошади, коровы, быки, свиньи, бараны и пр. Сам король осматривал их и раздавал владельцам призы, состоящие из знамен, книг... и из денег; потом была скачка, и, хотя король уехал прежде 6 часов, народ оставался за полночь. На всем лугу не было ни одного солдата, ни одного полицейского, выключая национальной милиции... и не только не вышло ни одной драки, но и ни одного громкого слова. Впрочем, немцы, благодаря пиву, чем пьянее, тем тише.

Иван Киреевский, 1830

Крестьянский праздник, который здесь отмечается ежегодно в октябре, на этот раз был особенно великолепным.

Давно уже стены Мюнхена не видели такого стечения приезжих. Полагают, что их было около 40 000 — прибывших из всех уголков Королевства, а также из сопредельных государств. Одно замечательное обстоятельство придало чрезвычайный блеск и живость этому празднеству. Все сколько-нибудь значительные сельские общины из всех восьми округов Королевства прислали свои делегации; одетые согласно обычаям, принятым в их местах, они проходили перед королем, неся плоды своих трудов, а также эмблемы исторических событий и традиций, связанных с местностями, кои они представляли. Это было воистину народное представительство в живых картинах и образах. Невозможно было сдержать чувство радостного удивления при виде множества оригинальных костюмов и сцен, оживляющих старинные традиции, — при виде всех этих свидетельств того, что и нынешнее поколение хранит обычаи и нравы своих предков. Великолепное солнце озаряло это празднество, в котором участвовало более ста тысяч зрителей и которое, при всем своем блеске, ничего не стоило казне.

Александр Крюденер, 1835

Вчера, в день Октябрьского праздника, на Терезиенвизе собралось по меньшей мере сто тысяч человек, и солнце над головами вполне соответствовало случаю. Скопление иностранцев было просто невероятное.

Федор Тютчев, 1842

...Мы провели на Лугу Терезии целый день и за эти часы ни минуты не оставались без сменяющихся развлечений... Все это было, как повсюду на ярмарочных сборищах, но общее веселье, благодаря распивавшемуся в баснословном количестве пиву и известному благодущию баварцев, было особенного размаха. Отовсюду слышались песни и смех, и звон чокающихся кружек...

Александр Бенуа, 1896

Мне посчастливилось быть на народном празднике („October-Fest“), продолжающемся неделю. Баварец отправляется из города в эти дни в специально для этого праздника воздвигнутые на широком поле пивные Валгаллы, неимоверной величины. Тиролец-капельмейстер раздаёт народу книжечки с песнями, прославляющими пиво и жизнь, и под музыку их затягивают тысячи крестьян, крестьянок, солдат и интеллигентов. Сюда приходит баварец молиться своему богу и раздирать рот в песне. Я видел тысячи разодранных ртов, я видел — кельнерши, как гиерофанты мистерии, размахивали над столиками руками в такт пению...

O, Susanna, wie ist das Leben doch so schön,
O, Susanna, wie schmeckt das Bier so schön*...

Вот какое в Мюнхене пиво, и вот как его пьют!
Так веселится народ.

Андрей Белый, 1906

Пивные праздники, как правило, открываются увлекательным зрелищем — тянущейся вереницей красиво украшенных цветами и вьющимся хмелем подвод с бочками пива, эмблемами пивных фабрик, шествующими оркестрами, танцевальными коллективами... На многих подводах — пивовары и трактирщики в красочных народных костюмах. Впереди верхом на коне непременно — символизирующее город «мюнхенское дитя»: девушка в облачении францисканской монашки с кружкой пива в руке.

В день открытия Октоберфеста такая процессия движется в сторону большого луга (Терезиенвизе или Терезин луг), где заблаговременно возведен целый городок — с пивными шатрами, готовыми вместить по несколько тысяч человек, множеством аттракционов, сувенирных ларьков и закусовых прилав-

* О, Сюзанна, как же прекрасна жизнь, / О, Сюзанна, как замечательно вкусно пиво...

ков. Ровно в полдень обер-бургомистр Мюнхена открывает первую бочку. Несколькими ударами молотка пробивается затычка и под возглас «O'zapft is!» (по-баварски: откупорено!) наполняется первая кружка. Она передается премьер-министру Баварии, звучит традиционный тост: «Auf eine friedliche Wiesn!» (за мирный Октоберфест!)*. И тотчас над лугом торжественно гремят двенадцать выстрелов — сигнал, разрешающий разлив пива в шатрах, где уже с 9 утра наблюдается аншлаг и царит томительное ожидание.

О, Сюзанна...

Театр. Как и многие другие составляющие пивной культуры Баварии, будь то ритуальная трапеза с белыми колбасками и пшеничным пивом или посиделки друзей — в любимых пивных и в народных костюмах... Театр, в котором одновременно ты и зритель, и актер.

Театр под названием «Октоберфест» особенно замечателен в хорошую погоду и в первой половине дня. В вечерние часы он может напоминать балаган — шумом, теснотой, нетрезвым весельем... Не стоит, однако, забывать, что большинство публики составляют приезжие со всех концов света, да и среди местных необходимо отделять носителей и хранителей пивной культуры от толпы любителей, дождавшихся праздничного часа. Коренные традиции, подхваченные огромной массой, даже, если почти все статисты по законам театрального зрелища переодеваются в яркий сценический реквизит (юбки с фартуками, блузки, шнурованные корсеты, у мужчин короткие кожаные штаны, гетры, шляпы с перьями...), имеют свойство вульгаризироваться и приобретать очертания поп-культуры.

* Wiesn – в баварском диалекте означает луг и используется как принятый синоним и самого праздника *Oktoberfest*, и места его проведения *Theresienwiese*.

За две с лишним недели на Терезином лугу выпивается более 6 миллионов литров пива...

Было бы странно, если бы в откликах наших соотечественников, на которые сделан здесь акцент, звучали только восторженность или любопытство. В них проскальзывает ирония, иногда слышится отчужденность, неприятие обывательской сути бессмысленного просиживания в пивной...

Мужчины пьют из литровых фаянсовых кружек и курят зловонные сигары. Жены из пол-литровых — чокаются, пиво кипит пеной, бегущей на деревянные, без скатертей, древние столы. Едят сосиски (удивительно вкусные) и сухие крендельки, осыпанные крупной солью.

Издали доносятся звуки оркестров, играющих популярные баварские песни. Все подпевают. Дым такой, что вдаль ничего не видно. Пивные голоса, утробный смех! Довольно мерзко это бургерское благополучие.

Валентина Ходасевич, 1910

Пива (лучшего в мире!) не пью вовсе. Нахожу, что пиво тяжелый, стопудовый и отупляющий какой-то напиток. Даже в питье сказалось различие физиономий разных народностей: легкие и игривые французы и итальянцы пьют свое легкое виноградное вино, а немецкий бургер выпивает 4 литра пива в день!

В Мюнхене вечный дождь. Я объясняю его исключительно пивом: пивные испарения поднимаются в горы и ниспадают в виде дождя, а так как пиво тут пьют вечно, то и дождь идет вечно.

Иван Билибин, 1898

В свою очередь, художница Анна Остроумова-Лебедева попала в Мюнхен во время экстремальной жары и была уверена, что

пережитый ею здесь приступ удушья был вызван «сильным запахом дыма пивоваренных заводов».

Но суровее всех прозвучал голос Гоголя.

...Немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно, пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, — вот и всё тут.

Ну что ж... Гоголь гениален, даже когда неправ.

Реплика классика относится к Вене 1842 года, но отражает южно-немецкую традицию «пивных садов» под каштанами, которая берет начало в Мюнхене в 1812-м. В ту пору технология пивоварения подразумевала созревание и долгое хранение напитка в погребах. Большие пивные подвалы находись на городских окраинах. Обычно над ними высаживали каштановые деревья, плотной листвой обеспечивающие тень. К тому же, их стелющаяся корневая система не несла опасности погребным сводам. Под каштанами стали появляться столы и скамьи, и в хорошую погоду эти места оказались популярной целью загородных прогулок. Трактирщики возмутились: разлив пива традиционно был их привилегией. Скандал дошел до короля, и тот распорядился дать производителям напитка право на торговлю, но при двух условиях: только в три летних месяца и без закусок. Находчивые пивовары тотчас предложили своим гостям принести с собой все, что найдется подходящего на домашней кухне.

В 1825-м запрет на продажу еды был отменен, и пивные под открытым небом — *Biergarten* — быстро завоевали любовь горожан. И поныне Мюнхен славится своими знаменитыми «биргартенами», в некоторых из них под каштанами могут разместиться от пяти до восьми тысяч человек. Из уважения к старой баварской традиции не возбраняется приносить с собой любую домашнюю снедь.

Кстати, о еде. Начав день с праздничной баварской трапезы (белые колбаски и пшеничное пиво), следует его достойно продолжить и завершить — в биргартене или в пивной.

В качестве закуски предлагаю выбрать то, что называется «*Brotzeiteller*» — тарелку или деревянный поднос, на которых варьируется ассорти из колбасок, паштетов, ветчины, огурчиков, редиски или кружочков редьки, колечек красного лука, масла, хлеба и, конечно, того, что называют *Obazda* и что представляет собой тертый мягкий сыр с маслом, пряностями, мелко натертым луком, почти обязательно содержащий тмин и иногда смягчаемый пшеничным пивом. Нет, воблы и раков у этих чудаков в пивных заведениях не водится... А обазду, как они считают, также вкусно намазывать на подсоленный крендель — брецель.

Пиво выбираем по вкусу — *Helles* (светлое), *Dunkel* (темное), *Weißbier* (пшеничное, мутноватое), можно и безалкогольное или облегченное, наполовину разбавленное — *Radler* (ячменное), *Russ'n* (пшеничное).

Наконец и мы удостоились отведать этого божественного напитка, который у древних назывался нектаром и был так дорог, что его могли пить только боги, а в Новых Афинах (в Мюнхене — *Вл. III.*) демократизировался и стал общим достоянием.

Максимилиан Волошин, 1901

Пиво — небо души, глубочайший религиозный символ баварца; пиво: это — вырастающая даль, в которую уплывает баварец, чтобы коснуться скрытых сил души германской.

Андрей Белый, 1906

Слегка утолив чувство голода и жажды, можем перейти к горячим блюдам. К литровой кружке прохладного пива хорошо подойдет свиное жаркое с кнодлями или пара сочных румяных

обжаренных колбасок с капустой или картофельным салатом. К ломтикам отварной говядины нам подадут отваренные в бульоне овощи и соус из тертого с яблоками хрена. Распластанный венский шницель, как правило, на выбор — из свинины или телятины. О прожаренной на гриле аппетитной рульке с хрустящей корочкой говорить без волнения трудно. А про нежную баварскую утку с красной капустой, тушенной с яблоками, могу сказать лишь словами упомянутой песни: *О, Сюзанна...* А как описать филе судака, форель «мельничиху» или копченого гольца, которые особенно аппетитны в альпийских ресторанчиках вблизи горных озер и холодных ручьев? Тут нам не обойтись без бокала франконского белого вина. А к десерту, будь то изумительный яблочный штрудель (обязательно в теплом виде и со взбитыми сливками) или почти мистический кайзершмаррн (особенно, когда к нему подаются печеные сливы), не откажем себе в удовольствии выпить рюмочку местного шнапса.

Монахи-основатели и бородастые, кровь с молоком, в зеленых шляпах с перьями, крестьяне, видать, дружно и долго лелеяли свою столицу, молитвами, пивом и молоком упитывая ее граждан: в Мюнхене я не встречал хилых и костлявых, за исключением иностранцев, еще не успевших откормиться или уже не поддающихся никакому откорму английских старых дев с бедекерами (путеводителями — *Вл. Ш.*) в руках.

Кузьма Петров-Водкин, 1901

Кажется, от зоркого взгляда художника не скрылось нечто важное, что отличает баварские пивные традиции: отблеск улыбки, самоиронии. И сам Петров-Водкин подхватывает ту же ноту, когда вспоминает своего русского приятеля-трезвенника, с презрением смотревшего на кружку мюнхенского пива: «Несчастный, очевидно, по наследственности совершенно лишен был бодрящего чувства алкоголизма».

ДУНАЙ СЫН ИВАНОВИЧ

Сюрпризы топонимики

Осенью 1834 года друг Пушкина Петр Андреевич Вяземский, путешествуя по югу Германии, записал в дневнике: «познакомился... с сыном *Ивановичем Дунаем*, довольно скромным в здешнем месте. По сторонам его расстилаются равнины и возвышаются несколько местечек». Запись сделана в Донаувёрте по пути из Вюрцбурга в Мюнхен.

Признаться, «сын *Иванович*» в записи Вяземского меня озадачил, хотя река Дунай и раньше ассоциировалась со славянским пространством:

Не видала ль, девица,
Коня моего?
— Я видала, видела
Коня твоего.
— Куда, красна девица,
Мой конь пробежал?
— Твой конь пробежал
На Дунай реку...

«Красна девица» — у Пушкина, не фройляйн... Да и со времен начальной школы помнилось: «Вышла мадьярка на берег Дуная...» (бархатистый тембр Эдиты Пьехи), «Видел, друзья, я Дунай голубой, занесен был сюда я солдатской судьбой...» (хрипловатый голос Леонида Утесова). Но Петр Андреевич Вяземский, по понятным причинам, был лишен в детстве этого

удовольствия — сидеть с родителями вечерами перед черно-белым экраном телевизора (у нас тогда был «КВН» с линзой) и слушать советские шлягеры. Как выяснилось, его ассоциации восходили к той части древнерусского народного творчества, которая в свое время прошла мимо моего внимания. И теперь, уже перед экраном компьютера, мне удалось частично залатать этот пробел: Дунай Иванович оказался популярным героем эпоса, богатырем сродни Илье Муромцу и Алеше Поповичу, появляющимся в десятках былинных сюжетов.

Среди них хорошо известны рассказы о женитьбе Дуная в Киеве на дочери литовского короля Настасье. Записаны они из многих уст и в разных вариантах, но в общих чертах сводятся к тому, что разомлевший на пиру Дунай расхвастался своей силой и ловкостью: *«А и нету молодца во Киеве / Против тихого Дунаюшки Иванова...»* Настасье, тоже отличавшейся удалью, бахвальство супруга не приглянулось, возник спор, и между молодоженами затеялось соревнование в стрельбе из лука. Настасья трижды попадает в кольцо на голове Дуная. Ответной стрелой Дунай нечаянно смертельно ранит жену (по иной версии: мстительно стреляет ей в грудь). Тут же выясняется, что она ждет от него ребенка (в других вариантах: двойню). Опомнившись, Дунай в отчаянии бросается грудью на свою саблю, и брызнувшая кровь превращается в реку.

Там от крови от Дунаевой
Протекла славная Дунай-река...

К месту напомнить, что исток Дуная находится в южной части Германии, в Шварцвальде, в соседней с Баварией земле Баден-Вюртемберг. Оттуда река течет через баварские Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау, вбирая в себя многие реки. Дальше на пути у Дуная Вена, Будапешт, Румыния, Хорва-

тия, Сербия, Молдавия, Украина... Протяженность реки 2 860 километров.

В свое время Дунай-река была описана и древними греками, и римскими историками. Но более поздний славянский эпос словно поворачивает — на этимологическом уровне — течение вспять: не богатырь Дунай сын Иванович назван в честь великой реки, а она получает его имя. Так кельтско-латинское название *Dānuius*, закрепившееся в немецком языке как *Donau*, стало в славянском фольклоре «сыном Ивановичем Дунаем», всплывшим в записной книжке путешественника князя Вяземского.

Мне вспомнился этот топоним-мираж, когда, только начиная обживать Мюнхен, я попал на *Küchelbäckerstraße*. Названия большинства улиц были для меня непонятны и непроизносимы. А это прочиталось сразу — как хорошо знакомое: улица Кюхельбекера. Оставалось только добавить имя — Вильгельм. Я понимал, что это маловероятно — кто тут знает и почему помнит поэта-декабриста? Но в чужом городе, где мне предстояло жить, название прозвучало утешительной весточкой из пушкинского Петербурга, историей которого мне довелось заниматься в прошлом. Как во сне, в клубке необъяснимых ассоциаций закрутилось: мечтатель, романтик, герой и неудачник... Передо мной лежала улица, по которой судьба провела не только Кюхлю, но и многих его современников...

В справочниках, конечно, быстро подтвердилось, что улица не имеет отношения к другу Пушкина, впрочем, как и вообще к какому-либо конкретному лицу. Названа она в честь уважаемой в городе профессии: кюхельбекер (*Küchelbäcker*) — одно из старых обозначений булочника. Но и это не ослабило моей ностальгии. Немецкие пекари — неременная фигура в городской среде Петербурга пушкинской поры.

И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

«Улица Булочника» так и осталась для меня первым мостиком, перекинутым с Невского проспекта в Мюнхен.

Сегодня в баварской столице насчитывается более шести тысяч уличных наименований. Полтора десятка из них прямо или косвенно связаны с именами российской истории — от времен Киевской Руси и почти до наших дней. Все они появились во второй половине XX века. За одним исключением *Ольга-штрассе*. Она прописалась на карте города в январе 1900 года в память о киевской княгине Ольге, первой христианке на княжеском троне Киева.

Сразу после окончания Второй мировой войны в топонимике Мюнхена стала закрепляться память о местных героях-антифашистах. Среди них родившийся в русско-немецкой семье в Оренбурге Александр Шморель, известный участник студенческого антифашистского подполья «Белая роза», жертва нацистской диктатуры: казнен в 1943 году, в 2012-м признан святым Русской православной церкви — *Александр Мюнхенский*. Площадь его имени появляется в сентябре 1946 года. В том же году одна из площадей района Швабинг получила название «Мюнхенская Свобода» (*Münchner Freiheit*) — в память тех, кто накануне прихода в город американских войск попытался поднять мятеж, призывая военных и мирное население к бескровной капитуляции. Одним из участников «акции свободы» был уроженец Москвы Евгений Кумминг.

После окончания войны понадобилось десять лет, чтобы начали налаживаться отношения между ФРГ и Советским Союзом. В 1955-м в Москву отправляется канцлер Германии Конрад Аде-

науэр. Визит исторический — устанавливаются дипломатические отношения, начинается возвращение домой десяти тысяч немецких военнопленных. В рамках культурной программы визита в Москве и Ленинграде выступает мюнхенский камерный оркестр под управлением Вильгельма Штрасса, которого тогда же окрестили «послом музыки». Сенсационный успех этих концертов привел к созданию первого в Советском Союзе коллектива исполнителей камерной музыки под руководством Рудольфа Баршая. В 1958-м Мюнхен принимает балетную труппу Большого театра с Галиной Улановой. В свете начавшегося культурного обмена не вызывает удивления, что в 1956 году сразу три улицы Мюнхена получают имена русских композиторов: Чайковского, Бородина и Антона Рубинштейна. В 1971-м к ним добавляется улица Александра Глазунова. Ни один из этих композиторов не имел тесных связей с Мюнхеном. В некотором роде исключение выпадает только на долю Глазунова. Много лет спустя после его смерти, в 1961-м, сюда переезжает из Парижа его падчерица, известная пианистка Елена Глазунова-Гюнтер. Она привозит архив и обстановку квартиры композитора. Дом Гюнтеров (муж Елены Александровны был писателем, искусствоведом, редактором) — место встреч немецких литераторов, музыкантов и мировых знаменитостей, среди которых — Рудольф Нуреев, Юрий Григорович, Мстислав Ростропович... После смерти Глазуновой-Гюнтер материалы и реликвии композитора были переданы Музею театрального и музыкального искусства в С.-Петербурге.

Три улицы баварской столицы получили имена художников — Кандинского, Явленского и Веревкиной. Улицы Василия Кандинского и Алексея Явленского появились, соответственно, в 1964 и 1968 годах. Память Марианны Веревкиной отмечена в 2000-м. Все трое приехали в Мюнхен молодыми, в 1896-м. И с некоторыми перерывами прожили в этом городе до августа

1914-го, когда начавшаяся война заставила их покинуть территорию государства, неожиданно ставшего враждебным. Эти годы вместили в себя период ученичества, творческих поисков и первых успехов на путях европейского экспрессионизма и, что касается в первую очередь Кандинского, зарождения абстрактного искусства. И не забудем, что все они с энтузиазмом освоили мюнхенскую культуру велосипедной езды, о чем я уже имел удовольствие рассказать на страницах этой книги («All Heil!»).

Улицы Кандинского и Явленского проходят в районе Зольн, на южной окраине Мюнхена. Улица Марианны Веревкиной занимает особо почетное место: она начинается напротив Старой Пинакотеки, тянется вдоль Пинакотеки Современности и завершается перед музеем Брандхорст, словно символизируя связь художественного новаторства начала XX века с классикой и современным искусством.

К названным выше «музыкальным» улицам с русскими именами следует отнести появившуюся в 1956 году Онегинштрассе. Немецкие кино и театр «с русским подтекстом» оказались представлены в новых наименованиях 1981 года: улочки Чеховой и Пазетти.

О большинстве героев упомянутых топонимов написаны книги, статьи, сняты фильмы... Здесь же хотелось вспомнить менее известных — Лео Пазетти, Зигрид Онегин, Евгения Кумминга, сказать несколько слов об Ольге Чеховой, а также обратить внимание читателя на показавшуюся мне загадочной улицу, на которой довелось прочитать собственную фамилию: Шубин.

Улица Онегин (Oneginstraße)

Название сразу озадачило: Онегин — не немецкая фамилия и не ремесло, как в случае с улицей Кюхельбекер.

Иван Сергеевич Тургенев, собираясь посетить Мюнхен в 1870 году, осведомлялся, застанет ли там своих друзей Онегина

и Жуковского. Под Жуковским имелся в виду сын поэта, упомянутый уже в этой книге художник. Фамилия же их общего приятеля звучала Отто, хотя он и называл себя Онегиным.

Происхождение Алексея Отто осталось загадкой. Сам он рассказывал, что был найден младенцем на одной из аллей Александровского парка в Царском Селе и получил фамилию крестной матери. Со временем — из любви к Пушкину — стал называть себя Онегиным. Так именовали его и близкие, под этим именем адресовали ему корреспонденцию, хотя официально смена фамилии была разрешена Александром III только в 1890 году, когда Алексею Федоровичу было уже 45 лет. Мюнхен был для него лишь одним из городов Европы, в которых он появлялся по разным обстоятельствам, пока окончательно не обосновался в Париже, где создал уникальный музей-хранилище русской культуры: рукописи Пушкина, Жуковского и других писателей, эпистолярное наследие, живопись, графика, книги, мемориальные предметы.

При всем уважении к Алексею Федоровичу, раритеты которого были выкуплены и пополнили крупнейшие музеи, архивы и библиотеки России, я все же сомневаюсь, что члены городского совета Мюнхена, присваивая в 1956 году название Онегин одной из улиц, что-либо вообще о нем слышали.

Впрочем, не буду дальше интриговать читателя и сразу раскрою секрет: мюнхенский Онегин — это женщина, знаменитая оперная певица 1910-1930-х годов Зигрид Онегин. На баварской сцене она появилась в 1919-м, но узнала Мюнхен раньше: еще в возрасте фройляйн брала здесь уроки вокала. До замужества ее знали как Лили Гофман.

Первым мужем певицы стал пианист и композитор барон Евгений Борисович Онегин. Они познакомились в висбаденской консерватории, куда барон заглянул в поисках юного голоса для своей новой оперы. Певице было 17, Евгению Борисовичу 36.

Он был талантлив, блестяще эрудирован в вопросах музыкального искусства, тонко улавливал не раскрывшиеся еще возможности ее вокального потенциала и тем самым вскоре оказался чутким и незаменимым наставником.

Одним из предков Евгения Борисовича был скрипач-виртуоз, композитор Львов, автор музыки русского национального гимна «Боже, царя храни!». Сам же Евгений Борисович в буре революционных событий 1905 года разошелся во взглядах с русским самодержавием и уехал в Европу.

В 1913-м, пять лет спустя после знакомства, они решили пожениться. В связи с этим отправились в Лондон, где проживала приемная мать барона. Оттуда Лили Гофман вернулась в Германию как Зигрид Онегин (Зигрид — одно из четырех полученных ею при крещении имен).

Все эти годы пара оставалась неразлучной. Евгений Борисович непременно сопровождал жену на ее концерты и представления. Своим присутствием не только вселял уверенность, но и, тонко улавливая нюансы звучания, еле заметными движениями пальцев подсказывал и подбадривал: чуть тише... превосходно... Еще до замужества они вместе появлялись на сцене, Евгений Борисович — за роялем. В репертуар часто включались песни и арии на его музыку.

С 1912 года Зигрид Онегин стала петь на подмостках королевской штутгартской оперы. Ее фамилия громко звучала с афиш, повторялась в газетах и устах меломанов. В швабском диалекте, однако, она приобрела отличное от русского языка произношение. Как-то певице пришлось диктовать по телефону сообщение. Когда дошло до подписи, на противоположном конце провода раздалось недоброжелательное ворчание: «Не могу вас понять. О-не-гин? Не знаю такой фамилии. Произнесите по буквам». И когда просьба была выполнена, телефонистка

воскликнула: «Ха! д Óнегин! Почему сразу было не сказать внятно... д Óнегин знает здесь каждый ребенок».

В Штутгарте их застало известие о начале Первой мировой войны. Русские подданные обязаны были покинуть Германию, в противном случае подлежали интернированию. Между собой было решено, что Евгений Борисович останется дома — в глубине квартиры за закрытыми дверями и плотно зашторенными окнами. Полиции и знакомым певица сообщила, что русский муж уехал в Лондон.

Домашний плен обернулся тяжелым физическим и психологическим испытанием для барона с его некрепким здоровьем. Через два года заточение оказалось невыносимым. И тогда Евгений Борисович отодвинул штору, растворил окно и встал перед ним, открыто глядя на соседей и прохожих. Тем временем его жена бросилась к художественному руководителю театра, призналась ему в сокрытии мужа и попросила обратиться к вюртембергскому королю в надежде на снисхождение и заступничество. Высочайшее снисхождение последовало: пара отделалась штрафом.

Все пересказанное здесь почерпнуто из биографии Зигрид Онегин, впервые вышедшей при жизни певицы — в 1939 году. Написана она ее вторым мужем, доктором Фрицем Пенцольдтом, при этом многие страницы принадлежат перу самой певицы. При подготовке третьего издания*, уже после смерти жены, Пенцольдт находит необходимым упомянуть в предисловии, что Евгению Борисовичу и Зигрид приходилось вести «отчаянную борьбу» за свою «земную и метафизическую любовь» в окружении злобных сплетен и мещанской ограниченности. И речь шла не о мелких театральных интригах, а о пережитой, как он пишет, «большой трагедии». Не считая уместным раскрывать подробно-

* Alt ~ Rapsodie. Sigrid Onegin – Leben und Werk. Herausgegeben von Fritz Penzoldt. Neustadt an der Aisch. 1953.

сти, Пенцольдт лишь напоминает старую восточную поговорку: «Солнце невозможно запачкать глиной».

Подробности всплыли позже и теперь не представляют из себя секрета. Настоящие имя и фамилия «барона Онегина» — Агнес Элизабет Овербек. Да, да — «Евгений Борисович» не только не русский и не барон, но и не представитель мужского пола. Место рождения фрау Овербек — Дюссельдорф. Ни русских Львовых, ни Онегиных в ее роду не встречалось, зато среди немцев Овербеков известен ее прадед — просветитель и дипломат; к тому же, один дядя был знаменит как художник, другой как археолог. Мать фрау Овербек, действительно, после развода поселилась в Лондоне, где и сама Агнес получила музыкальное образование и начала свою карьеру.

В 1898-м Агнес Овербек познакомилась в Италии с Зинаидой Гиппиус и, то ли подружившись с ней, то ли увлекшись литературно-салонной дивой русского Серебряного века, последовала за ней в Петербург. По возвращении стала выдавать себя за барона Евгения Онегина. Покрой костюма, прическа, некоторые манеры — все было умело стилизовано и приближено к мужскому типу. И за этим артистическим образом раскрылись талант и личность, покорившие молодую певицу Лили Гофман.

Едва ли окружающие могли ни о чем не догадываться, отсюда и осуждение, пересуды, насмешки, злоба, о которых пишет Пенцольдт. Может быть, самой безобидной остротой была та, что касалась внешнего вида пары: статная, высокая Зигрид и рядом небольшого роста, изящно сложенный барон. Супруг выглядел старше, и в этом тоже крылась соль ходячей остроты: «вот идет Лилечка с ее сыночком».

Двухлетнее квартирное заточение сильно расстроило и без того слабое здоровье Агнес Овербек. В 1919 году она умирает, а вместе с ней и ее двойник — барон Онегин. Перед смертью он подготавливает нотное издание нескольких песен во славу Девы

Марии. Оно печатается в Берлине в 1920-м с посвящением на обложке: «Моей жене»*.

По-видимому, оставаться одной в Штутгарте было тяжело, и в 1919-м Зигрид Онегин принимает приглашение Баварской оперы. Музыкальная публика Мюнхена принимает ее с восторгом. «Энтузиазм переполненного зала был опасен для жизни, но понятен», — с восхищением и улыбкой после одного из представлений отмечает в своем дневнике Хэдвиг Прингсхайм, в молодости актриса, а в ту пору жена известного математика, меломана, мецената (и, к слову добавить, теща Томаса Манна). Они посещают с мужем сольные концерты певицы, оперные представления. Последние, по ее мнению, сами по себе оставляют желать лучшего, но неизменно привлекают присутствием на сцене Зигрид Онегин: «она великолепна в любых обстоятельствах», «эта женщина — чудо!»

Газеты величают певицу «королевой вокала», ее голосовые данные — шедевром, редко рождаемым природой. Не забывают и «покойного супруга, музыкального ментора и незаменимого спутника» Евгения Борисовича Онегина, песни на музыку которого она включает в сольные выступления наряду с произведениями Брамса и Моцарта.

В Мюнхене Зигрид знакомится с врачом и литератором Фрицем Пенцольдтом, в брачном союзе с которым снова обретает взаимопонимание и любовь. В написанных совместно с мужем мемуарах на многих страницах появляется фигура Евгения Борисовича Онегина: встреча с ним юной Лили Гофман расценивается как «подарок судьбы», а сплотившее их единодушие как «неслыханное счастье».

* В предыдущих публикациях, посвященных З. Онегин (Лили Гофман), мной ошибочно толковалось, что ее брак был признан подложным. Судя по всему, мистификация так и оставалась публично не раскрытой и даже второму мужу певицы стала известна только после ее смерти.

В Мюнхене, где певица оставалась до 1922 года, и позднее на многих знаменитых подмостках мира она продолжала выступать под именем Зигрид Онегин. Ее голос не был забыт, и в 1956 году городской совет принимает решение запечатлеть ее имя в названии одной из улиц.

Улица Пазетти (Pasettiweg)

Словом Weg в населенных пунктах обозначаются небольшие, часто непроезжие или малопроезжие улочки. Одна из них в Мюнхене названа в честь известного оформителя театральных сцен и главного художника баварской оперы 1920-30-х годов Лео Пазетти. Фамилия выдает итальянское происхождение, но родился Пазетти в Петербурге. Его дед перебрался из Феррары в русскую столицу в первой половине XIX века, а в 1850-м у него появился на свет сын Анаклет, которого на русский манер стали называть Александром (иногда почему-то и Петром) Ивановичем. Он прошел обучение в Императорской академии художеств, приобрел известность живописца, дважды удостоился серебряных медалей академии, но... увлекся фотографией и на этом поприще добился громкой славы. Фотографический салон Пазетти на Невском, 24 был очень популярен, тем более что мастера заметила царская семья, и он приобрел статус придворного фотографа-портретиста.

В 1882 году у Пазетти рождается сын, будущий мюнхенец — Лео или Лев Александрович (Анаклетович), который по стопам отца оказывается со временем в классах Академии художеств на набережной Невы, но затем отправляется к берегам реки Изар в Мюнхен, куда устремлялись многие и многие молодые художники того времени. Здесь в первые годы XX столетия начинается карьера Лео Пазетти как театрального оформителя*. С 1920 года

* В литературе приводится также иная дата рождения Лео Пазетти — 1889, обозначенная на его могильном камне. Однако в большинстве источ-

и до смерти в 1937-м он — ведущий декоратор баварских театров (балет, опера, драма), приглашаем также для оформления спектаклей в театры других германских городов, кроме того — в Швецию, Австрию... Улица в его честь была названа почти полвека спустя после его смерти — в 1981-м.

К сказанному осталось добавить, что первой женой Пазетти была художница Ингеборг Гартман из русско-немецкой семьи художников Ольги Беггровой и Карла Гартмана, а во втором браке у Пазетти родился сын Петер, получивший известность как немецкий актер театральных и телевизионных постановок, чтец и мастер дубляжа.

Площадь Мюнхенской Свободы (Münchener Freiheit)

Внимание, внимание! Вы слушаете передачу Акции Свобода Бавария!.. Акция Свобода Бавария объединяет всех, кто выступает против национал-социализма. Ее цель полное избавление от национал-социализма. Она борется за немедленное прекращение безумной борьбы, за восстановление мира и демократической формы правления... Избегайте дальнейшего кровопролития! Возьмите белые флаги и сдавайтесь без сопротивления!

Внимание, внимание! Акция Свобода Бавария сбросила ярмо нацистов в Мюнхене!..

Воззвание прозвучало по радио около 6 часов утра 28 апреля 1945 года. Зачитывал его командир отделения военных переводчиков Рупп्रेхт Гернгросс. Ему и его сподвижникам с группой солдат удастся захватить две радиостанции на окраинах

ников указывается 1882 год, что, в частности, подтверждается и следующим обстоятельством: карьера Пазетти началась в известном кабаре «11 палачей», оно прекратило существование в 1904 году; очевидно, что художнику-декоратору не могло быть в это время 15 лет.

Мюнхена. Мятеж готовился под кодовыми словами «охота на фазанов», поскольку призывал в целях мирной капитуляции обезвреживать «золотых фазанов», как закулисно называли заевшихся нацистских бонз. Заговорщики предполагали создать временное правительство, которое обеспечит демилитаризацию и переход к демократическому управлению страной. В призывах отмечалось, что «берлинский милитаризм» всегда был чужд баварскому народу.

Услышанное по радио воззвание подхватывается в нескольких городах Баварии. Но и вызывает ответную реакцию — на подавление путча тотчас брошены силы СС и гестапо. Многие участники убиты, другие спасаются бегством. Через день в столицу Баварии входят американские войска.

Сколько же имен стоит за названием площади, в котором соединились два слова: Мюнхен и Свобода? Согласно новейшим исследованиям — 168, но общее количество участников мятежа, включая привлеченных солдат, насчитывает около 400. В их числе — зондерфюрер Евгений Кумминг.

Кажется, сам Гитлер должен был бы позавидовать такому титулу: не просто фюрер, а «зондер» — особый, чрезвычайный... На самом деле, всего лишь «ведущий специалист». Профессия: военный переводчик, предмет: русский язык. Для Кумминга он был родным, поскольку родился будущий «зондер» в Москве; покинул ее в возрасте 22 лет, в 1921-м. Его выразительный портрет времен московской молодости воссоздал в начале 1970-х Вениамин Каверин в трилогии «Освещенные окна»: поэт (в 1920-м вышла книжка Кумминга с поэмой-мистерией «Петрушка-пилигрим» и другими «драматическими опытами»), эрудит, знаток наиновейших литературных направлений — имажинистов, центрифугистов, неоромантиков, парнасцев, ничевоков, экспрессионистов; свой в кругах литературной Москвы, среди его знакомых Андрей Белый, Маяковский, Антокольский и мно-

гие другие — известные, очень известные, забытые. И... сотрудник уголовного розыска, где слыл незаменимым аналитиком в области методик борьбы с преступностью, к тому же докой в новейшем воровском жаргоне. И в некоторой степени провидец: перед отъездом в эмиграцию предсказал начинающему поэту Каверину: «Ты будешь писать прозу». И добавил: «Мы расстанемся навсегда». «По слухам, которым я верю, — заметил Каверин многие годы спустя, — он стал миллионером».

Слухи были явно преувеличены... В Берлине 1920-30-х годов Кумминг работал в эмигрантских изданиях, ораторствовал на литературных посиделках и по этому поводу попал в шутливую эпиграмму Владимира Набокова: «Когда мы спорим с Куммингом, / То в комнате безумен гам». С началом Второй мировой призван гражданским переводчиком в армию (ранг зондерфюрера в военной иерархии определял его статус на уровне майора) — преподает, выпускает пособия о структуре и вооружении Красной армии, законах и регламентах... Его сын Вальдемар, родившийся в Берлине, отправлен на Восточный фронт, где получает ранение.

Кумминг-старший еще до войны был наслышан о концентрационных лагерях в советской стране и, как он говорил, «чудовищных преступлений в миллионном масштабе», но не меньший ужас внушают ему открывшиеся в ходе командировок на оккупированные восточные территории случаи жестокости немецкой армии в отношении гражданского населения и военнопленных. Об этом подает рапорты начальству, находит единомышленников-офицеров, дистанцирующихся от национал-социализма, участвует в создании некоей комиссии по расследованию. Однако подобные инициативы «зондеров», поддержанные в отдельных вышестоящих военных кругах, жестко пресекались «просто фюрером»: «Снова эта болтовня о гуманности».

Куммингу «военная сентиментальность» стоила, по его свидетельству, смещения с должности.

В ночь на 28 апреля 1945 года он становится одним из участников мятежа «Акция Свобода Бавария», руководит захватом редакции газеты «Münchener Neuesten Nachrichten». Его задача — занять типографию, внести информацию о поднятом восстании и его программе в готовящийся выпуск газеты, напечатать листовки. К утру, однако, возникает неразбериха, заговорщики терпят неудачу, Кумминг успевает скрыться и избежать расправы.

После войны остается в Мюнхене. В 1945-м пытается организовать журналистскую комиссию для изучения военных преступлений. Инициативу не удалось реализовать. Но вскоре начинает работать Нюрнбергский международный трибунал, и на нем, как стало известно Куммингу, рассматривались найденные в архивах его докладные записки военных лет о бесчинствах нацистов.

Он работает в журналистике — немецкой и эмигрантской. В одном из частных писем замечает: «Меня считают хорошим немецким стилистом (об этом мне неоднократно писал в свое время Стефан Цвейг)». Умирает в Мюнхене в возрасте восьмидесяти лет, в 1980-м.

К этому времени в Советском Союзе вышло одно за другим уже пять изданий автобиографической книги Каверина «Освещенные окна». И в них — воспоминания о Москве 1919-20-го годов и дружбе с молодым эрудитом: «Не помню, где я встретился с Женей Куммингом, приземистым, некрасивым, коротконогим юношей, еще недавно принадлежавшим к кругу богатой московской молодежи»...

В биографии Кумминга военных лет, несмотря на несколько ценных архивных разысканий мюнхенского исследователя Игоря Петрова, остаются некоторые вопросы. Что-то несомненно мог бы прояснить его сын Вальдемар Кумминг, но он скончался

в 2017 году. Как и отец, в послевоенные годы он осел в Мюнхене. Как и отец, Кумминг-младший в 1950-е годы был связан с «Радио Освобождение» (с 1959-го называлось «Радио Свобода»), но, в отличие от отца, работал там не журналистом, а инженером. Тогда же, в 1950-х, его захватывает интерес к набиравшему необыкновенную популярность жанру научной фантастики. Он организует семинары, встречи авторов и читателей, собирает уникальную фонотеку, начинает выпускать тематический журнал «Munich round up», издание которого продолжается более полувека. Знаток, неутомимый энтузиаст, предводитель («major», как его величали) содружества любителей научной фантастики, таким остался он в памяти многих, его знавших.

Улица Ольги Чеховой (Olga-Tschechowa-Weg)

В 1981 году в русскую топонимику Мюнхена вписалась улица, названная в память звезды немецкого театра и кино Ольги Чеховой.

Будущая актриса родилась в 1897 году в Российской империи в семье обрусевших немцев по фамилии Книппер. Ее младший брат Лев стал советским композитором (музыка к песне «Полюшко-поле» — одно из его произведений), тетка по линии отца — легендарная актриса МХАТа Ольга Книппер-Чехова, жена великого писателя и драматурга. Именно по ее рекомендации юная Ольга попадает в художественную студию МХАТа и там знакомится с племянником писателя, восходящей театральной звездой Михаилом Чеховым. Вскоре она становится его женой, а в 1916 году в этом браке рождается третья Ольга Чехова, которая пойдет по стопам родителей, но во избежание путаниц примет сценическое имя Ада Чехова. Брак актерской пары вскоре распадается, революция разбрасывает их в разные части света: Михаил Чехов эмигрировал в Америку, Ольга с дочерью в Германию.

В Берлине актрису ждала блестящая карьера и, как следствие, официальное признание — звание государственной актрисы, почетная обязанность появляться в окружении фюрера... Мюнхен долгое время вписывался в ее биографию только эпизодически: лекции в университете (круг интересов — биология, косметология), приглашение на официальный прием Гитлером Муссолини... Но в 1950-х Мюнхен становится ее новым пристанищем, теперь уже до конца дней: «...в шестьдесят лет еще раз начинаю все сначала... Я продаю свой дом в Кладове и переезжаю из Берлина в Мюнхен. Прямо в центре баварской столицы открываю свой первый косметический салон».

Близится к завершению актерская карьера, но эстафетная палочка уже передана дочери, а затем и внучка, Вера Чехова, начинает занимать видное место в кино — актриса, режиссер, сценаристка, продюсер...

Сама же Ольга много сил отдает своей фирме, пишет мемуары. В те же годы в печати появляются сообщения о ее прежних связях с советской разведкой: «Я мешками получаю письма с угрозами, к тому же теперь еще и пущен слух, будто я награждена орденом Ленина». Документальные и публицистические материалы, представляющие ее то «штирлицем в юбке», то невинным объектом внимания НКВД появляются до сих пор. Приводятся подробности, начиная с того, как за полгода до эмиграции ее обучали тайнам агентурной работы, и заканчивая получением в 1945-м ордена Ленина чуть ли не из рук Сталина. В 45-м Чехова действительно побывала в Москве, и не по своей воле. Ее доставили самолетом из советской зоны оккупации, допрашивали, обращались, однако, бережно, обустроили с комфортом, а потом вернули в Берлин и заботливо опекали, пока она не переехала в Западную Германию. Все это подливало масло в огонь слухов и пересудов, распространяемых, как отмечала сама актриса, «бульварными листками», отличавшимися незатейли-

вой логикой газетных обвинителей: «Фрау Чехова оспаривает получение ордена Ленина. Что же, ей лучше знать! К сожалению, я не просматривал наградные бумаги в кремлевской канцелярии!»

Трудно представить, что желание узнать подробности обходило стороной американскую администрацию в Германии или образованную в ту же пору немецкую федеральную разведывательную службу (БНД). С другой стороны, вопрос возможной вербовки и активности Чеховой в качестве «агента Сталина» терял свой обвинительный смысл в послевоенной Германии, где чествовались герои антинацистского сопротивления.

Как бы то ни было, репутация актрисы, снявшейся более чем в двухстах фильмах, брала свое: в 1962 году Чехова получает высшую кинематографическую награду страны — «Золотую киноленту». Десятилетие спустя удостоивается Большого креста Ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. А через год после смерти, последовавшей в 1980-м, появляется решение городского совета Мюнхена об увековечении ее имени в названии одной из новых улиц. И это название — Ольга-Чехова — невольно соединяет в себе для русского уха память об актрисе и незаурядной артистической, литературной и музыкальной семье, которой она принадлежала.

Улица Шубина (Schubinerweg)

Противоположным примером топонимики, когда за звучащим по-русски названием не обнаруживается связи ни с персоной, ни с событиями российской истории, является небольшая улочка Шубина.

Имя однофамильца на карте Мюнхена меня обрадовало и заинтриговало. «Человек, полный рвености и учености» — так характеризуются он в старинном списке священников пригорода

Лоххаузен*. В современных разъяснениях о происхождении названия улицы упоминаются также его заслуги в образовании молодежи. Фридрих Шубин начал свое служение под Мюнхеном в 1682 году, умер в 1706-м. В те времена в Лоххаузене насчитывалось всего несколько дворовых хозяйств. Судя по всему, от участка церковного настоятеля Шубина долгое время сохранялся устный топоним, который в 1958 году был закреплен в качестве официального названия. Улица проходит в двух сотнях метров от старинной церкви Святого Михаила.

Памятуя историю с Дунаем сыном Ивановичем, я представил лихого уральского молодца Шубина (оттуда был родом мой дед Константин Шубин), которого в южно-германские земли могли занести тяга к перемене мест и авантюрный характер. За годы странствий мой пращур мог постареть, не иметь сил возвращаться назад, в конце концов прибил к приветливой простушке, а там... дети выросли немцами, внуки и подавно... так и дотянулась цепочка до священника-католика и местного просветителя Фридриха Шубина. Я уже мысленно окрестил его Фридрихом сыном Ивановичем...

И все же порылся в словарях... И узнал в них о немецком писателе Осипе Шубине (Ossip Schubin). Его новеллы и романы были популярны на рубеже девятнадцатого — двадцатого веков. Просветитель Фридрих, писатель Осип... Генеалогия немецких Шубиных вызывала все бóльшую гордость. Но... Осип оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. И, как и в случае с «бароном Онегиным», при ближайшем рассмотрении Осип обернулся женщиной, а именно Лолой Киршнер — писательницей, поклонницей и личной знакомой Ивана Сергеевича Тургенева, из романа которого «Накануне» она и выбрала себе русский псевдоним.

* Lochhausen-Langwied in der Vergangenheit und Jetztzeit. Bearbeitet und zusammengestellt von Karl Gattler Oberlehrer und Bezirksschulrat. 1931. S. 50.

Фридрих в моих глазах осиротел, оставшись единственным известным мне носителем фамилии Шубин среди немцев. Вскоре выяснилось, что в моем сочувствии он едва ли нуждался. Дальнейшие поиски в онлайн-архивах, базирующихся в основном на церковных источниках, заставили меня рассмеяться и вспомнить русскую поговорку «была бы шуба, а вши найдутся». Да простят меня все Шубины на свете.

Фридрих из Лоххаузена, к удивлению и радости, оказался окружен сонмом своих однофамильцев и, возможно, родственников. Некоторые из них также были служителями церкви, двое — докторами теологии: Мартин Шубин, живший неподалеку — в окрестностях Дахау, а затем Кельхайма, и Иоганн Шубин из австрийской глубинки. В Ульме проживал Конрад Шубин, а в Амберге с той же фамилией Иоганн Якоб, управляющий рыбным хозяйством баварского курфюрста. Мелькнули Валентин Шубин, Франц, снова Иоганн — два последних из соседней вюртембергской земли. Удивительно, но почти все они были старшими или младшими современниками Фридриха из Лоххаузена, за исключением Конрада из Ульма (документ о нем датируется 1502 годом) и амбергского рыбака Иоганна Якоба (1758 год). Других немцев Шубиных за пределами этих дат не встретилось.

Мне уже доводилось задаваться вопросом, откуда в XIX веке взялась в Мюнхене явно русская фамилия Пушкин (об этом говорилось в заметках «Пушкин в Мюнхене»). Тогда все прояснилось без затей: отцом заинтересовавших меня братьев Пушкиных — стенографа и художника — оказался эмигрант, бывший повар российского посла. Но как объяснить происхождение самого раннего из обнаруженных мной Шубиных — Конрада, жившего в Ульме на рубеже пятнадцатого — шестнадцатого столетий? Какие миграционные процессы могли занести его пред-

ков-славян на юг германских земель? Или миграция тут ни при чем, и ответ кроется в иной плоскости?

В одной из попавшихся мне записей в хрониках вюртембергской церковной истории рядом с фамилией Шубин в скобках указывался вариант ее произношения и написания: Schubin (Schube) Johann Baltasar*.

Schube (Шубе)... Выяснилось, что это забытое германское слово, и обозначало оно верхнюю одежду. Словари подсказали, что сходное звучание присутствует во многих славянских языках, в том числе в польском, где сохраняется не только слово *szuba*, но и название местности — город и край *Szubin*. Оставалось уточнить вопрос первородства: кто кому одолжил это слово — славяне германцам или, может быть, наоборот.

Мнения расходятся. Но как считал выдающийся лингвист Макс Фасмер, гипотезы о заимствовании немецкого *Schube* от славянских языков относятся к категории «рискованных». Источником, полагал он, послужило арабское *jubba*, пришедшее в немецкий через итальянский, после чего *Schube* оказалось заимствовано славянами. Так, по-видимому, оно и досталось дальним предкам моего уральского деда.

Как тут не вспомнить Достоевского: «У нас — русских — две родины: наша Русь и Европа».

Шуба шубой, но почему немецкая фамилия Шубе приобрела нетипичный суффикс «in» — Schubin, так и остается для меня необъясненным. И пока не доберусь до умных книг, которые прольют свет на эту загадку, позволю себе и дальше называть лоххаузенского пастыря «по-семейному» Фридрихом сыном Ивановичем...

* Württembergische Kirchengeschichte <https://www.wkgo.de/>, поиск: Schubin, Schube.

III РЕЙХ

МИМИ И ВОЛЬФ

Альпийская быль

Мими рассказала эту историю журналистам в 1959 году, когда никто уже не называл ее этим именем; ей было около пятидесяти лет, а господина Вольфа давно не было в живых.

История начинается на окраине Баварии в курортной альпийской деревушке Оберзальцберг. Там в небольшом магазине работала 16-летняя Мария Рейтер. Жила она внизу, в долине, в живописном городке Берхтесгаден. Домашние и подруги называли ее Мими.

Однажды в магазинчик наведалься приезжий — господин Вольф. Что-то купил, завел разговор. Выглядел взрослее Мими (и действительно оказался старше двадцатью годами), привлекательным не показался, а его узкие черные усики, разлетающиеся «крылышками» над верхней губой, вызывали у нее еле сдерживаемый смех. Господин Вольф поначалу конфузливо улыбался, но быстро овладевал разговором, расспрашивал фройляйн о том о сем, вскоре попросил разрешения называть ее впредь Мими.

Он снимал комнатку неподалеку, и их встречи и незатейливая болтовня продолжались — первое время у прилавка, но вскоре радиус стал расширяться, охватывая многочисленные тропинки вокруг живописной деревни. Господин Вольф был учтив, но и настойчив, стал добиваться поцелуев. После первого отказа резко распрощался — «навсегда». Но... появился снова. Она начинала привыкать к его военного покроя галифе, к плетке жокея,

с которой он не расставался на прогулках, и даже к его «крылышкам»...

Как-то он остановился у высокой ели, взял ее за плечи — стал поворачивать в разные стороны... Любовался: «Мимилейн, моя лесная фея!» Она мягко возражала: феи бывают только в сказках и театре. Последовали поцелуи.

Встречи переросли в свидания, и вскоре господин Вольф уверял ее, что они не должны расставаться. И чтобы сказка более походила на быль, он рисовал перед ее воображением интерьеры уютной квартирки, где они будут вместе, и в гостиной у них обязательно будет стоять гарнитур мягкой мебели, обитой фиолетовым плюшем. Сердце Мими сжималось...

Однако господин Вольф вдруг пропал. Точнее говоря, стал избегать встреч — не появлялся у ее прилавка или переходил на другую сторону улицы, опустив глаза.

Девушка была расстроена и заинтригована, начала расспрашивать о нем, кто-то посоветовал ей посмотреть в библиотеке газетные подшивки прошлых лет. Постепенно выяснилось, что господин Вольф недавно вышел из тюрьмы, освобожден условно-досрочно, вынужден соблюдать осторожность, в том числе и в связях с несовершеннолетними особами. И еще — господин в галифе и с крылышками над губой собирается стать большим политиком. Он окрылен великими идеями и имеет притязания несколько более масштабные, чем те, что ограничены фантазиями о гнездышке с плюшевым диваном фиолетовой окраски.

Тут бы Мими и вздохнуть с облегчением, вспомнить, что в альпийских деревнях издавна пугали доверчивых девочек встречами на лесных тропинках с коварным волком. Но нет — эмоциональная и чувственная сторона юной природы была уже растревожена новыми ощущениями. Мими поняла, что готова к

любви. И еще поняла, что ее волк никогда не станет домашним псом.

В отчаянии попыталась уйти из жизни, но была спасена.

Тем временем она преодолела порог совершеннолетия и ответила согласием, когда хозяин одной из местных гостиниц сделал ей предложение. Ответила слишком поспешно и вскоре пожалела. Брак не удался, и тут Мими решила напомнить о себе господину Вольфу.

Он откликнулся сочувственно — прислал лучшего юриста, который помог оформить бракоразводные бумаги.

Второе замужество Мими выглядит счастливее, но вскоре ее супруг погибает на поле брани. Господин Вольф посылает вдове букет из ста роз.

К тому времени от прежней деревеньки Оберзальцберг ровно ничего не сохранилось. Жители были выселены, их дома снесены, а в новых время от времени проживали господин Вольф и избранные его стаи. Вожак был по-прежнему холост, но поговаривали, что в его доме появилась некая белокурая особа, которую он лишь выдает за домоправительницу.

Весной 1945 года и от этой новой деревни почти ничего не осталось — ее разнесла авиация противников.

После войны Мими жила поблизости — в родном Берхтесгадене.

Некоторое время спустя там же поселилась госпожа Паула Вольф, сестра героя ее девического романа. Они подружились. Госпожа Вольф, старше тринадцатью годами, жила очень скромно, получала небольшое пособие, болела, нуждалась в уходе. Мими проявляла сердечность. Они часто вспоминали покойного господина Вольфа. И Мими как-то спросила: а почему, собственно, *Вольф*? Что все это значит?

Тогда и узнала, что в детстве брат и сестра в какой-то игре придумали себе прозвища: господин и госпожа Вольф. В начале

своей политической карьеры брат, чтобы не привлекать к себе внимания в бытовых ситуациях или при случайных знакомствах, пользовался этим именем. А когда поднялся к вершинам власти, настоял, чтобы сестра, так и не вышедшая замуж, сменила фамилию. Он не афишировал семейные связи и с родственниками отношений почти не поддерживал. По его настоянию Паула и стала именоваться госпожой Вольф. Но теперь, когда брата нет в живых, она подала документы на смену паспорта. Как и прежде, в нем будет прописано ее настоящее имя: Паула Гитлер.

Не знаю, поднималась ли Мими из своего Берхтесгадена к лежащей выше в горах разрушенной деревне Оберзальцберг, искала ли ту памятную ель, где слышала жаркое дыхание и шепот: «Мимиляйн, лесная фея...»

Быль на то и быль, что ее невозможно переписать заново. И не существует способа обрезать на этом месте ленту мрачной хроники, чтобы не видеть, как Мими начнет старательно вышивать свастику на своей красной шапочке.

Разве что перекроить быль в небылицу... И тогда можно оставить сентиментальную парочку в том лесу навсегда: растерянную простодушную девицу и заглядывающего колючими зрачками ей в глаза отставного ефрейтора.

Или, чтобы не уподобляться злому волку, проложить от той ели новую тропинку, которая приведет в уютную квартиру, куда господин Вольф возвращается вечерами после службы. Он прилежный чиновник таможенного ведомства, каким хотели его видеть родители, окружен детьми, заботами супруги и любит перед ужином отдыхать на плюшевом диване. И мы простили бы ему, мечтавшему в молодости о славе живописца, даже фиолетовый цвет обивки — может быть, он просто хотел угодить незатейливым вкусам своей Мимиляйн.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ III РЕЙХА

Речь снова пойдет о господине Вольфе, на этот раз о его родственниках, о которых не принято было говорить. Господин Вольф нисходил к ним порой с высоты своего пьедестала, проявлял заботу — отправлял деньги, изредка с кем-то виделся, но об этом, как и о самой родне, мало кто знал. Семейный портрет на публичных подмостках оказывался погруженным в густую тень за исключением одного лица, выхваченного мощным лучом поднятых на небесный софит прожекторов, и этот лик говорил окружающему миру: *я совершенно внесемейное существо. В иных случаях еще более обескураживающе: я женат на Германии.*

Германия, которая таким образом была замужем за господином Вольфом, вовсе такового не знала. Потому что само имя «господин Вольф» было лицедейским. В паспорте же стояло: Гитлер, в народном и официальном обиходе также Фюрер, в кругу друзей и близких допускалось Ади. А как господина Вольфа его знали совсем немногие. В первую очередь родная сестра Паула. Впрочем, она могла и забыть их детскую забаву, но в 1936 году он напомнил ей придуманное в какой-то давней игре прозвище и настоял, чтобы она сменила документы и официально именовала себя госпожой Вольф. Да и сам еще на взлете своей политической карьеры в 1920-х время от времени прикры-

вался этим именем при некоторых знакомствах, в частности с девушками, и не только. За спиной у него был неплохой опыт конспирации, приобретенный в ту пору, когда вернувшись с фронтов Первой мировой, исполнял в Мюнхене обязанности информатора войсковой разведки.

Со временем, когда фюрер пал и исследователи, а с ними историки-любители бросились срывать драпировку с темных мест его биографии, вокруг самой его фамилии образовалось много разных недоразумений. В семейном древе, которое прослеживается от бабушки и ее родителей, фигурируют: Шикльгрубер, Гидлер, Гюттлер, Гитлер. Сбоку время от времени пытается прилечь некто Франкенберг.

Так кто есть кто?

Бабушка Анна (1796-1847)

Анна Шикльгрубер, в замужестве Гидлер, была австрийской крестьянкой. Жила бедно, в сорок два года родила сына Алоиса, отца будущего фюрера. Сама в тот момент была незамужней, и сына записали на ее фамилию. Когда Алоис вышел из младенческого возраста, его забрал к себе в дом знакомый бабушки по фамилии Гюттлер (Hüttler). У него был старший брат, менее успешный, перебивавшийся случайными заработками. В церковных книгах брат значился как Гидлер (Hiedler). Сейчас трудно объяснить, почему родные братья носили созвучные, но все же разные фамилии. Не будем, однако, забывать, что дело происходило в одной из австрийских провинций двести с лишним лет назад, когда написание имен легко варьировалось, могло заноситься в метрические книги на слух полуграмотными церковными служащими.

Этот-то бедняк Гидлер, будучи уже пятидесяти лет от роду, посватался к Анне Шикльгрубер, которая была тремя годами моложе. Вместе и прожили остаток лет. А после их смерти брат

Гидлера, воспитавший в свое время Алоиса, захватил с собой трех свидетелей и отправился в церковь, где когда-то Алоис был крещен, и там они засвидетельствовали, что покойный Гидлер и был настоящим отцом мальчика. Отчим превращался в отца, сирота-пасынок, которому к тому времени было уже 39 лет, — в его родного сына. Священник не возражал и, где надо, вычеркнул слово «внебрачный», а также изменил фамилию Алоиса с Шикльгрубер на Гитлер — то ли был глуховат, то ли посчитал, что *m*, будет соответствовать более правильному написанию, чем *đ*. Так в 1876 году появилась известная всем фамилия.

Как кстати пришло потом эта случайная подмена жиденского *đ* на мужественное *m*! В произношении появился доминирующий твердый звук — словно подарок будущему диктатору. И ему, диктатору, фамилия явно нравилась. Когда в начале 1930-х годов один из лингвистов, изучив ее происхождение, предложил произносить ее с затянутым «и...» и соответственно транскрибировать в словарях [*hi:tlər*], фюреру это этимологическое занудство пришлось не по душе. Его фамилия должна звучать, как уже звучала в ушах миллионов: кратко, без затяжек, решительно и твердо — как выстрел.

До сих пор бытует ходячее мнение, будто Адольф Гитлер с детства носил фамилию бабушки. Эта ошибка попала даже в Большую советскую энциклопедию 1960-х годов. Разумеется, быть такого не могло, поскольку за тринадцать лет до рождения фюрера отец его уже именовался Алоисом Гитлером.

Историки, конечно, задавались вопросом, с какой целью правилась метрическая запись о рождении Алоиса Шикльгрубера. Версия, вроде, напрашивается сама собой: отцом его был Гюттлер, который забрал мальчика к себе в семью, а его мать сосватал позже за холостого брата. Со временем же объявил покойного брата отцом Алоиса, который уже успешно поднимался по чиновничьей лестнице в таможенном ведомстве и которому эта ре-

тушь в биографии была во всех смыслах на руку. И все же версия всегда подразумевает, что в конце предложения стоит не точка, а вопрос. Под этим знаком и остается имя настоящего деда будущего фюрера: бедняк Гидлер, более успешный Гюттлер или — и это нельзя сбрасывать со счетов — неизвестный нам третий.

Другой знак вопроса вокруг происхождения Алоиса однозначно снят со спекулятивной гипотезы, известной под названием «франкенбергская теза». Она была изложена в предсмертных записках одного из главных нацистских преступников Ганса Франка и сводилась к тому, что отцом Алоиса был «зажиточный еврей Франкенберг», у которого Анна Шикльгрубер подрабатывала при доме. Исследователи не преминули все переворочить и выяснили:

а) никакой Франкенберг в тех местах и в те времена не проживал,

б) обитание лиц еврейского вероисповедания в тех местах и в те времена не находит подтверждения,

в) фамилия Франкенберг восходит к старому немецкому дворянству и ее распространение среди иноверцев не зафиксировано.

Зачем нацист Франк, один из ведущих юристов III рейха, перед смертью в нюрнбергских застенках придумал эту «тайну», объявив фюрера не чистым арийцем? Тут могут всплывать различные предположения, но сейчас хочется отметить иное: примитивная «теза» с антисемитской отрыжкой, давно перечеркнутая историками, до сих пор всплывает на страницах интернета или экранах телевизора, чтобы лишний раз подурочить какого-нибудь доверчивого обывателя.

Папа Алоис (1837-1903)

Ему исполнилось 10 лет, когда умерла его мать Анна. Она могла бы гордиться сыном, который сумел позже вырваться из крестьянского круга и подняться до ранга государственного чиновника. Правда, иногда выпивал, бывал суров с женами и детьми. Женат был трижды и в двух последних браках имел нескольких детей. Оставим тех из них, кто, к несчастью, умер во младенчестве, и сосредоточимся на тех, кому суждено было стать свидетелями взлета и падения родившегося в 1889 году «великого сына немецкого народа».

В 18 лет (1907) будущий фюрер оказался сиротой. В ближайшем окружении оставались единокровные брат и сестра Алоис и Ангела и родная сестра Паула. У первых двух со временем появляются дети — его сводные племянники и племянницы. Если не считать, что за день до смерти фюрер сочетался браком с Евой Браун, то этим списком и ограничивается ближайший круг его семьи. В следующем ряду числятся родственники, приобретенные в результате браков Алоиса и Ангелы, а также семейный куст по линии матери в нижне-австрийской глубинке (тетя, двоюродные братья-сестры, их дети).

Уже в середине двадцатых годов, когда Гитлер начал отшлифовывать свой имидж политического лидера, семья стала предметом его особой заботы, суть которой можно свести к несколькими словам: родственники должны сохранять по отношению к нему дистанцию, не красоваться, не говорить лишнего. Тогда же принялся ретушировать семейный портрет и, по словам современного биографа Р. Зандгрубера, постепенно «превратил своих предков в „бедных домовладельцев”, отца переписал из таможенного чиновника в почтового, а родственников, пытавшихся приблизиться к нему, непреклонно от себя отталкивал». Тот же биограф упоминает такой эпизод: когда Гитлеру сообщили о мемориальной доске в родной деревне матери, у него «случился

очередной приступ безудержного гнева». Любой сторонний интерес к семейной хронике и личностям воспринимался болезненно. В этих вопросах он всегда пребывал настороже. Но к родительскому очагу демонстрировал должное уважение, выделяя при этом сердечные чувства к матери: «Я уважал своего отца, мать, однако, любил». И с пафосным вдохновением о матери и о себе: «Она подарила немецкому народу великого сына».

Мама Клара (1860-1907)

Мама доводилась внучкой тому самому Гюттлеру, при котором воспитывался ее будущий муж Алоис. И если отцом Алоиса был сам Гюттлер (наиболее распространенная версия) или его брат Гидлер, она в обоих случаях оказывалась со своим мужем в кровном родстве.

В доме «дядюшки Алоиса», который был старше ее двадцатью тремя годами, Клара появилась в 16-летнем возрасте в качестве домработницы и сиделки при его больной жене. По воле последней из дому была вскоре изгнана, а когда больная умерла, вернулась и получила все права хозяйки семейства. В силу родственной близости брак был сначала отклонен местными церковными властями, и только после разрешения более высоких духовных инстанций смог быть оформлен по всем правилам. Интимные отношения, как уверяют, возникли еще при больной жене «дядюшки». Эти мутные круги родительского прошлого, из которых выяснялось, что Гитлер мог доводиться своей матери кузенком, по понятным причинам оказывались для него в разряде табу — для собственного любопытства, а уж тем более для уличного.

Брат Алоис (1882-1956)

Старшего брата, как и отца, называли Алоисом. Как и отцу, ему суждено было родиться до брака и некоторое время носить

фамилию матери. Примечательно, что в семейной хронике Гитлеров причудливым образом периодически возникают повторяющиеся или близкие сюжеты, в чем мы еще сможем убедиться. Однако родители Алоиса-младшего вскоре поженились, затем появилась на свет его сестра Ангела, но тут их мать умирает и в доме появляется молодая мачеха (Клара).

В отличие от старательного и прилежного в службе отца Алоис-младший не проявляет ни интереса, ни способностей к учениям или ремеслу, в восемнадцать лет попадает в тюрьму за кражу, в двадцать снова оказывается за решеткой, после чего уезжает в Англию, женится на ирландке и вскоре становится отцом (сын — Уильям Патрик Гитлер). Семью, однако, бросает, отправляется на родину — то ли по обстоятельствам военного времени (Первая мировая), то ли в поисках наемной работы или организации собственного дела. И не возвращается — опять же, вроде, по обстоятельствам военного времени, но вполне возможно, возвращение просто и не входило в его планы. Через несколько лет снова оказывается под судом — на этот раз за двоеженство. Во втором, нелегитимном, браке, заключенном в Австрии, рождается его второй сын Генрих Гитлер.

В 1937 году Алоис, перебравшийся к тому времени в Берлин, оказывается на виду публики в качестве трактирщика. Австрийская газета «Freie Stimmen» в сентябре того же года сообщала:

Алоис Гитлер, единокровный брат имперского канцлера, открыл в районе Берлина Westend ресторан, который начал работать в среду. Ресторан называется «Alois». В день открытия все места до последнего оказались заняты.

Вопрос о родственных связях с канцлером Алоис Гитлер отклонил как нежелательный. «Я не хотел бы использовать свое имя в качестве рекламы. Мои главные усилия, чтобы мои посетители были удовлетворены».

Театральное бравирование родством (небезуспешное — заведение привлекало внимание) продолжалось до известных событий 1945 года. Вскоре после этого Алоис счел благоразумным поменять фамилию, изгнав из нее некогда втёршееся твердое *m*, и до конца жизни именовался господином Гиллером.

Племянник Уильям Патрик (1911-1987)

Вслед за своим отцом сводный племянник-англичанин поспешил воспользоваться могуществом «дядюшки Ади» и прибыл в Германию. Одна из неприятностей постигла его, когда на террасе берлинского кафе при проверке документов он гордо, хоть и с явным акцентом, представился Уильямом Гитлером, на что получил замечание, что имя фюрера не может быть предметом шуточек. И на ночь был взят под стражу. В другой раз дело обернулось хуже: клиент предприятия, где начал работать Уильям, донес в полицию, что тот заносчиво и фамильярно использует имя великого лидера. И хотя племянник-патриот пытался объяснить, что делает это ради успеха и престижа фирмы и во славу Германии, его уволили. Надо полагать, уволили с согласия дядюшки-фюрера, которому Уильям все это время досаждал письмами, требующими обеспечить ему приличную карьеру, и угрозами раскрыть в английской прессе скрываемые факты семейной истории.

Затаив обиду, племянник-неудачник вернулся в Англию, откуда вместе с матерью отправился в Америку. Сразу по прибытии в Новый Свет он начал выступать с заявлениями о губительной для мира политике Гитлера, опубликовал большую работу «Почему я ненавижу своего дядю», совершил турне с выступлениями по Америке и Канаде, рвался на фронт, чтобы воевать против фашизма, жаловался Рузвельту, когда его, как иностранца, отказались принять в армию. И был, в конце концов, зачислен, правда, не во фронтовые соединения.

А после войны сошел с публичной сцены — в силу исчерпанности политического «амплуа». Многолетнее афиширование фамилии на обоих континентах тоже исчерпало себя, и возможно по этой причине племянник-антифашист пожелал, чтобы его могильный камень был обозначен псевдонимом. Что и сделали, написав по его желанию «Stuart-Houston».

Кажется, с тем же успехом можно было бы просто выбить на памятнике свастику. Стюарт Хьюстон или, точнее, Хьюстон Стюарт Чемберлен — англичанин, ставший известным немецким философом-расистом, труды которого высоко ценились и использовались гитлеровской пропагандой. Может быть, примечательно и то, что своему первому сыну Уильям Патрик дал имя Александр Адольф.

Племянник Генрих (1920-1942)

Сведения о нем довольно скудны — и потому, что прожил этот сводный племянник всего лишь неполные двадцать два года, и потому, наверное, что был мало похож на своего авантюрного отца и эпатажного братца-англичанина Уильяма и представлял собой типичного молодого немца, вступающего во взрослую жизнь с внушенной ему преданностью фюреру и рейху.

В то время как Уильям Патрик клеймил своего дядю из-за океана, Генрих заканчивал курс обучения и воспитания в одной из национал-социалистических школ-интернатов. К началу Второй мировой войны был выпущен из школы и поступил на службу в Вермахт. Дальше в его биографии остаются только три пункта: Восточный фронт, плен в январе 1942-го и уже в следующем месяце смерть в Бутырской тюрьме в Москве.

Обстоятельства последних его дней неизвестны. Фюрер, по видимому, был опечален, но как истый диктатор мог утешать себя мыслью, что неизбежные жертвы придают лавровое ве-

личие тернистому пути. И ни в каком страшном сне, надо полагать, не мог себе представить, что на место Генриха в советские застенки и лагеря вскоре придет чуть ли не сонм его родственников — племянник Лео, а за ним почти вся родня по линии матери: два двоюродных брата и сын одного из них, двоюродная сестра с мужем. Да и сам он — великий сын германцев или, точнее, то, что останется от его бранных останков (фрагменты черепа, челюсть), — попадет в колумбарий на Лубянку.

Сестра Ангела (1883-1949)

Из всего семейного куста — единственная, кого на протяжении нескольких лет могли видеть в доме фюрера. В 1924-м она навестила единокровного брата в ландсбергской тюрьме, а после его освобождения стала помогать в домашнем хозяйстве — сначала в Мюнхене, потом в альпийской ставке Бергхоф. К моменту этого сближения Ангела уже много лет вдовствовала и воспитывала двух дочерей и сына. Гитлер числился их опекуном. Кажется, она имела основания винить брата за смерть своей старшей дочери Гели, сведшей счеты с жизнью в его квартире в 1931 году, но продолжала вести его хозяйство в Альпах до 1936-го. К этому времени в жизни фюрера уже большую роль играла Ева Браун, которая и заменила Ангелу в Бергхофе — официально как домоправительница.

Ангела перебралась в Саксонию, вышла там вторично замуж. Это событие вызвало замешательство по месту ее прежней работы — в иудейской академической школе в Вене, где она в 1922-1923 годах занимала должность поварахи. «Руководитель школы, — говорилось в бюллетене Еврейского телеграфного агентства, — находится в затруднении, следовать ли традиции и отправлять ли поздравление невесте... сестре германского рейхсфюрера». Подобные пятна семейной хроники вызывали у Гитлера озноб и подлежали тщательной маскировке.

Последней заботой брата об Ангеле стало указание весной 1945-го вернуть ее из Саксонии, к которой приближался советский фронт, в Альпы.

Племянница Гели (1908-1931)

Ей посвящены многие страницы биографических исследований, фильмы — как документальные, так и художественные. Показательны некоторые названия: «Запретная любовь Гитлера», «Племянница и Смерть», «Гитлер — восхождение Зла»... А посути, исторических свидетельств не так уж и много.

Гели попадает под особое покровительство своего сводного дядюшки во второй половине 1920-х годов. С 1927-го изучает в Мюнхене медицину, снимает жилье недалеко от дяди в пансионе. Бросает университет и увлекается пением. Дядя Ади оплачивает музыкальные уроки, обеспечивает всем необходимым. В 1929 году он переезжает в новую просторную квартиру, куда забирает и племянницу. Все это несколько напоминает сюжет с его родителями, когда юная Клара поселилась в доме совсем не юного дядюшки. Как далеко зашли отношения на этот раз — предмет гипотез и спекуляций. Но не исключено, что со стороны дяди все ограничивалось восторженным платоническим созерцанием.

Как бы то ни было, его опека оборачивается для Гели нелегким бременем: жизнь под неустанным вниманием, переходящим в унижительный контроль с неизменными нравоучениями, становится все более невыносимой. Возникавшие еще до переезда к дяде увлечения категорически им пресекались и сопровождались требованиями устанавливать для своих чувств испытательный срок и не допускать встреч с противоположной стороной в течение года или двух. Так произошло с личным шофером и другом Гитлера, попросившим руки 19-летней Гели. Подобным образом были прерваны ее отношения с сокурсником, который

трезво оценил происходящее: «То, как твой дядя поступает с тобой, я могу объяснить только его эгоистическими мотивами. Он просто хочет, чтобы однажды ты никому бы кроме него не принадлежала».

В 1931 году 23-летняя Гели умирает дома от выстрела из пистолета. Полиция и семья объявляют это трагической случайностью, исследователи склоняются к самоубийству.

Поведение Гитлера в эти дни говорит о его тяжелых переживаниях. Но к тому времени у него уже завязалось знакомство с Евой Браун. Общение с ней развивается активно и, разумеется, скрытно. Вскоре Ева, которая, кстати заметить, была моложе его племянницы на три года, становится новой любимой птичкой в золотой клетке. Она заменяет фюреру Гели, а заодно и ее хозяйственную мать — поскольку главной клеткой для Евы им определен альпийский дом Бергхоф, где хозяин представляет девушку гостям как новую экономку. На этот раз птичка не рвется наружу, но против безликого существования в тени фюрера бунтует и, следуя примеру Гели, пытается наложить на себя руки, причем трижды; правда, все три раза, то ли по счастливому везению, то ли, как считают некоторые историки, по расчету самой Евы, обходится без трагических последствий.

Племянник Лео (1906-1977)

Судьба брата Гели словно повторяет на каком-то этапе участь более молодого племянника Гитлера Генриха: война, Восточный фронт, плен и московская тюрьма. Однако Лео, в отличие от Генриха, чудом остается жив и в 1955 году возвращается в родные края в Австрии. Бытует легенда, будто фюрер предлагал Сталину обменять племянника на находившегося в немецком плену сына Сталина Якова Джугашвили. По другой версии, немцы взамен Якова просили выдать им своего фельдмаршала Паулюса. Советский вождь, по позднейшим воспоминаниям его дочери

Светланы Аллилуевой, ответил отказом: «Нет, на войне, как на войне».

Кроме Лео советский плен пережил еще только один родственник фюрера — из числа тех, кто был схвачен не на поле боя, а в своих домах на занятой русскими войсками австрийской территории.

Сестра Паула (1896-1960)

Судьба надолго разлучила 11-летнюю Паулу с братом в 1907 году, когда умерла их мать Клара. Некоторое время жила при сестре Ангеле, позже работала в Вене в страховой компании. В 1920-м впервые после долгой разлуки встретила с братом, а десять лет спустя была уволена на основании его политического имиджа: до 1936 года Австрия, как могла, дистанцировалась от политики нацистского лидера. Брат приглашал ее на партийный конгресс в Нюрнберг, на Олимпийские игры 1936 года, побывала она и на Вагнеровском фестивале в Байройте, но во всех случаях, как и другие немногие приглашенные родственники, не могла себе позволить никаких публичных контактов с фюрером. В газетном репортаже с IV Зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене она случайно попадает в один кадр с братом — в ряду зрителей за его спиной, рядом с ней занимает место Ева Браун.

Есть сведения и о помолвке или помолвках Паулы, которые вызывали неудовольствие Гитлера и им пресекались. К счастью для Паулы, после войны она попала в руки американцев, а не советских служб, и после допросов была отпущена, как и другие родственники (по настоянию Гитлера никто из них не вступал в партию и не занимал государственных постов, это защитило их от преследований после войны).

Последние годы провела недалеко от бывшей альпийской ставки брата — в Берхтесгадене. Жила в 16-метровой комнате,

за неимением средств получала государственное пособие.

В течение двадцати лет по воле брата, чтобы не привлекать к себе внимания публики, она именовалась госпожой Вольф. В 1956-м, за четыре года до смерти, когда другая родня давно спряталась под псевдонимами, Паула, напротив, вернула себе родовую фамилию с твердой буквой *m*.

Осенью 1955-го в одном из писем знакомому она прокомментировала семейный портрет, многие лица на котором к тому времени обрамляли похоронные венки: «Послевоенное время вырвало из моей семьи гораздо больше, чем можно было предвидеть. Мой племянник вернулся из России домой, с ним молодой родственник... а по закону должны бы вернуться семь человек. Остальные пятеро... не пережили пленения. Это судьба сотен тысяч... Братец должен был бы с этим согласиться, потому что и мы не щадили».

ИСТОРИЯ СТОЛЯРА, В ОДИНОЧКУ СПАСАВШЕГО МИР

Берлин
ГЕСТАПО
19-23.11.1939

Показания

Я родился 4 января 1903 года в местечке Хермаринген как незаконнорожденный сын Марии Мюллер, которая жила в то время со своими родителями. Они владели мастерской по ремонту телег и занимались сельским хозяйством. Через год мать вышла замуж за моего отца Людвигу Эльзера из Кёнигсбронна, где у него был свой дом, он зарабатывал перевозкой дров и получал доход от крестьянского хозяйства.

До весны 1925 года я оставался жить с родителями в Кёнигсбронне. Там же появились на свет мои сестры Фредерика, Мария и Анна, а также самый юный из нас брат Леонхард.

Довольно часто отец приходил домой поздно. Насколько знаю, он проводил вечера в трактире. Мать рассказывала, что он её бьёт, но я этого не видел и не знаю, ударял ли он её рукой или стулом, или чем-то ещё. Когда я делал что-

нибудь не так, отец бил и меня. Иногда, но не часто, наказывала меня и мать.

Отец занимался заготовкой и перевозкой дров, позднее начал торговать древесиной. Вся тяжесть работ на земле ложилась на мать. Приходилось нанимать подсобных людей. Нам, детям, тоже нужно было спозаранку помогать в конюшне, в поле и в работах по дому. Как старший я ещё и нянчился с братом и сестрами.

В семь лет я пошёл в школу и окончил семь классов. Я был средним учеником: в рисовании, правописании и счёте у меня были хорошие отметки, несколько хуже обстояло дело с диктантами, сочинениями, религией... Учителя относились к нам справедливо, за исключением одного, Германна, который, насколько помню, мог ни с того ни с сего наказать побоями весь класс.

Не помню, чтобы мои родители интересовались моими отметками. Но иногда немного помогали с домашними заданиями. Работы по хозяйству затрудняли мою учёбу.

Весной 1917 года я закончил школу и помогал родителям – разгружал подводы с дровами, работал в поле, в конюшне. Денег мне не выдавали, в том числе и на карманные расходы. Родители выплачивали долги за дом, но жили мы, за исключением нескольких военных лет, более или менее сытно.

Отец хотел, чтобы я и дальше помогал ему и матери, но у меня появилось желание выучиться на токаря, как это сделал один из моих школьных товарищей. Осенью 1917 года я поступил

учеником на металлургический завод, но пробыл там только полтора года. Из-за этой работы у меня ухудшилось здоровье — я жаловался на головную боль, часто поднималась температура... После ухода с завода я решил освоить столярное ремесло. Недалеко от дома моих родителей находились мастерские, где я забирал для нашей конюшни опилки и для растопки печей стружку. Мне доводилось видеть работу мастеров, и это вызывало интерес. В марте 1919 года я поступил туда подмастерьем и оставался таковым ровно три года. Первое время делал ящики, табуретки, но постепенно задания давались более сложные, и к концу обучения я уже мог самостоятельно изготавливать большие предметы мебели. Научился к тому же настилать полы, выстругивать и собирать оконные и дверные рамы, ставни для окон и многое другое. Но больше всего привлекала меня работа с мебелью.

Часть заработанных денег я отдавал матери, на остальные покупал одежду и инструменты, чтобы по возможности работать и дома.

После того как осенью 1923 года деньги из-за инфляции обесценились, я бросил работу и снова помогал родителям — отцу с древесиной, матери, как и прежде, в поле. Денег от них, как и раньше, не получал, но дома имел всё необходимое. В 1925 году я снова работал — то в одной, то в другой мастерской. В августе того же года поступил на фабрику в Констанце, там проработал несколько лет в столярной мастерской, занятой изготовлением корпусов для

часовых механизмов. В то время там менялись хозяева, работа останавливалась, и я часто оказывался без дел. Приходилось жить на свои сбережения и пособие. В 1929 году мне удалось найти работу в нескольких километрах от Констанца, в небольшой мастерской в Швейцарии. Ранним утром я отправлялся туда на велосипеде, который двумя годами раньше купил на отложенные деньги, и вечером возвращался домой. Кажется, это было в начале 1930 года, когда снова нашлась работа в Германии – неподалеку от Констанца, в Меерсбурге.

В свободное время я часто музицировал. Я предрасположен к музыке от природы. Ещё в школьные годы играл на флейте и гармошке. Позднее – на гармонии на танцевальных вечеринках. Особенных навыков у меня не было, и меня можно назвать „средним” музыкантом. В Констанце я приобрел в своё время цитру и брал уроки, чтобы освоить этот инструмент.

В Меерсбурге снова оказался занят изготовлением часовых корпусов и крепежом в них механизмов. Теперь по утрам мне нужно было плыть на работу через Боденское озеро на пароме, и вечером я возвращался в Констанц. Мы работали с 7 до 12 и после обеда с 13 до 18 часов. Свободное время я проводил с Хильдой Ланг, с которой у нас завязались близкие отношения.

Весной 1932 года хозяин уволил сотрудников, некоторое время мне удалось поработать в другой мастерской, после чего снова остался без работы. От комнаты в Констанце пришлось отка-

заться. В Меерсбурге перебивался частными заказами, это как-то обеспечивало мне питание и ночлег.

В августе того же года я вернулся к родителям. Мать писала, что отец все больше и больше пьянствует, и его торговля деревом приносит такие убытки, что они уже не могут выбраться из долгов. Я снова стал помогать в поле, в конюшне, на древесных заготовках. Денег не получал, но всем необходимым был обеспечен. К тому же успевал иногда подрабатывать ремонтом и изготовлением мебели.

К концу 1935 года долги отца стали столь велики, что ему пришлось продать дом и участок. Новый хозяин, торговец скотом и давний собутыльник отца, оставил ему небольшую комнату для жилья. Мать получила 2 000 марок и уехала на какое-то время к моей сестре Фредерике. Жившему с родителями младшему брату удалось найти себе работу. Я некоторое время продолжал ещё жить в том же доме, пока новый хозяин не настоял, чтобы и я выехал. У нас оставался только фруктовый сад, который и сегодня принадлежит родителям.

Во время жизни в Кёнигсбронне по пятницам или субботам я ходил в „цитра-клуб“, где устраивались музыкальные и танцевальные вечера.

Так протекал 1937-й и большая часть 1938 года — в моей жизни мало что менялось. Новым местом работы стала арматурная фабрика, куда меня приняли разнорабочим. Там было специальное отделение, где прессовали пороховые грану-

лы и изготавливали взрыватели. В мои обязанности входило приносить туда материалы и забирать пустые упаковки. Мне никто не рассказывал об этом производстве, не посвящал в детали. Несмотря на то, что мне не полагалось видеть, как монтируются взрыватели, через мои руки проходили различные детали и схемы с обозначением параметров. Чертежей собранного взрывателя или его полуфабриката я никогда не видел. Как он функционирует, я не знаю до сих пор.

Вплоть до самого решения действовать, принятого осенью 1938 года, я не крал на заводе ни деталей, ни пороха.

За все свои годы я читал мало. Романы, так называемые брошюры с рассказами для молодёжи и другие книги вообще не читал. Как-то пролистал до половины журнальный роман, но он показался мне глупым. Из технической литературы читал только газету по плотницкому и столярному делу.

На заданные мне здесь вопросы о моём общем физическом состоянии и развитии я уже частично ответил отдельно, но могу добавить к этому несколько слов. За всю свою жизнь я, может быть, раза три был пьян. Когда начинал работать в мастерских, никогда не пил днём пива. Кажется, в 24 года я начал курить, но уже через два года бросил. До 22-х лет у меня не было сексуальных связей. В годы жизни в Констанце моей первой партнёршей стала некая Брунхильда, от которой в памяти осталось только её имя. Потом появилась некая Анна, за ней

Матильда Нидерманн, Хильда Ланг, а после возвращения в Кёнигсброн моя замужняя домохозяйка. Отношения с Матильдой Нидерманн имели свои последствия. Когда она думала, что находится на втором месяце беременности, мы отправились в Женеву — по адресу, где нам могли помочь. Там выяснилось, что срок вдвое больше и операция уже невозможна. Родился мальчик, Манфред. Позднее Матильда вышла замуж. Судом мне было предписано платить алименты — 45 марок в месяц, если недельный заработок превышает 24 марки. Я никогда не был в состоянии полностью выплачивать эту сумму.

К вопросу о развитии моих религиозных и политических взглядов.

Моя мать всегда была очень религиозна, отец меньше. Оба, как и вся наша семья, — протестанты. С родителями я периодически бывал в церкви, потом гораздо реже. И только в этом году стал ходить чаще; может быть, побывал там раз тридцать. Я допускаю, что эти частые посещения и молитвы были связаны с тем, что я задумал. Если меня спросят, считаю ли я с точки зрения протестантского учения грехом содеянное мной, я отвечу: в глубоком смысле — нет.

Мои родители были аполитичны. Я лично никогда не был политически активным. По достижении возраста, дающего право голоса на выборах, я всегда голосовал за Коммунистическую партию, потому что считал, что она отстаивает интересы рабочих. Членом её я никогда не был, считал достаточным отдавать

свой голос. Ни в каких акциях, как то разбрасывание листовок, раздача прокламаций, демонстрации и прочее, никогда не участвовал. В 1928-м или 1929 году я вступил в Союз борцов красного фронта*. Но в нём только платил взносы, униформы не носил и не занимал никаких постов. За время моего членства всего три раза побывал на политических собраниях. Там говорилось о том, что нужно повышать зарплаты, строить лучшее жильё... Этого мне было достаточно, чтобы осознавать себя коммунистически ориентированным.

Осенью 1938 года в рабочих кругах, по моим представлениям, чувствовалось ожидание войны... Царило большое беспокойство. Я тоже предполагал, что из-за Судетов пойдёт „не так“, то есть начнется война. После „мюнхенского соглашения“** среди рабочих восстановилось спокойствие, вопрос войны был снят.

Я же был тогда убеждён, что „мюнхенским соглашением“ дело не обойдётся, что Германия будет и другим странам выставлять свои требования... и что война неизбежна. Это было моё личное мнение. Должен признаться, что в это время я слушал зарубежные радиопередачи — из

* Roter Frontkämpferbund, организация была запрещена в мае 1929 года, некоторое время существовала нелегально, окончательно прекратила деятельность после прихода к власти нацистов в 1933-м. *Вл. Ш.*

** Мюнхенское соглашение (мюнхенский сговор) – договор, подписанный 29.09.1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией о передаче Чехословакией Германии Судетской области, где проживали этнические немцы. *Вл. Ш.*

Москвы на немецком языке, из Страсбурга, Швейцарии... Некоторые известия казались ложными, другие заставляли задуматься.

Недовольство, наблюдаемое мною с 1933 года в рабочей среде, и неизбежная война, которую я подозревал с осени 1938-го, постоянно занимали мои мысли. Я задавался вопросом, как улучшить условия рабочих и избежать войны. Меня никто не побуждал к этому, и я тоже ни на кого в этом смысле не оказывал влияния. Подобных разговоров я не слышал. И в московских радиопередачах не было разговора о том, что правительство и режим Германии должны быть свергнуты. Но мои взгляды сложились в убеждение, что условия в Германии могут быть изменены только путём устранения сиюминутного лидерства — „вышестоящих”, имею в виду Гитлера, Геринга и Геббельса. Я полагал, что на их место тогда придут другие, которые не будут выставлять неприемлемых требований за границе, входить в чужие страны и будут беспокоиться об улучшении социальных условий труда. О конкретных людях, которые должны были взять на себя руководство, я не думал ни тогда, ни позже. У меня не было мыслей искоренить национал-социализм. Я был убежден, что он прочно держит власть в своих руках и не отдаст её. Я просто считал, что устранение этих троих приведёт к смягчению политических установок. И совершенно точно могу сказать, что ни малейшей мысли о какой-либо другой партии или организации, которая взяла

бы штурвал в свои руки, я не имел. Об этом я ни с кем тоже не разговаривал.

Осенью 1938 года я принял решение самостоятельно устранить германскую верхушку.

Я подумал, что это возможно, если они сойдутся на каком-нибудь митинге. Из газет узнал, что ближайшее мероприятие с их участием состоится 8 и 9 ноября в мюнхенском Бюргербройкеллере*.

8 ноября я отправился поездом из Кёнигсбронна в Мюнхен, чтобы посмотреть происходящее. Хотел узнать, какие там есть возможности, чтобы осуществить задуманное... Когда я попал на Розенхаймерштрассе, увидел, что проезжая часть перекрыта, а на тротуаре столпились любопытствующие. Я присоединился к ним и ждал, что увижу что-то особенное. Саму пивную „Бюргербройкеллер“ оттуда видно не было. Так простоял до половины одиннадцатого вечера, пока люди не начали расходиться и оцепление не было снято. Я прошёл к пивной, вход в неё был освещен. Через гардероб прошёл в зал, где ещё оставались люди. Я дошёл до середины и присмотрелся, где устроено место для выступающих и как это помещение украшено.

9 ноября около 11 утра я занял место на тротуаре напротив пивной и видел, как выстраивается „колонна 9 ноября“, как подъехал фюрер и

* Bürgerbräukeller – одно из крупнейших пивных заведений Мюнхена (здание снесено в 1979 году), связанное с попыткой путча нацистов 8-9 ноября 1923 года. С 1933 года здесь ежегодно праздновалась годовщина путча. *Вл. III.*

как эта колонна двинулась маршем в сторону центра. Побродив по городу, вечером я уехал домой.

При посещении пивной я обратил внимание, что зал не охраняется и войти в него может каждый желающий. В последующие два-три дня я пришел к выводу, что это место подходит для осуществления моего замысла. В следующие недели постепенно складывался план: лучше всего заложить взрывчатку в колонне позади трибуны и снабдить её каким-то часовым механизмом. Как могло бы выглядеть такое взрывное устройство, я тогда представления не имел. Выбор колонны объяснялся тем, что при взрыве она разлетится и поразит сидящих вокруг трибуны. Возможно, обрушится и потолок. Во время выступления Гитлера, как полагал, рядом с ним должно сидеть и его ближайшее окружение.

В течение нескольких месяцев мне удалось украсть на арматурной фабрике 250 пресованных пороховых пластин. Каждая из них была толщиной 9 мм и составляла в диаметре 19 мм. На фабрике никто ничего не замечал. Украденное я прятал дома в платяном шкафу.

Когда я уже мог представить себе приблизительную конструкцию моего аппарата, стало понятно, что необходимо знать размеры колонны. С этим я снова отправился в Мюнхен и оставался там с 4 по 12 апреля 1939 года. Там сделал замеры, чертежи и фотоснимки (фотоаппарат я получил к Рождеству как подарок).

Вскоре после возвращения я устроился на новую работу — в каменоломни, где велись взрывные работы. Подрывные капсулы и патроны хранились в отдельном бетонном домике, куда я проныкал ночью, подобрав ключ, и забирал в среднем по 20–25 штук. Я приносил их в рюкзаке домой и прятал в сундуке с двойным дном.

К подрывным работам я не имел прямого отношения, но наблюдал, как патроны закладывались в просверленные в скале отверстия, как капсулы-детонаторы крепились к шнуру зажигания и как происходил подрыв.

После того, как я сделал замеры колонны во время своей пасхальной поездки в Мюнхен, я впервые смог начать на бумаге проектировать конструкцию моего устройства. Часами сидел над эскизами, обдумывал возможность взрывного эффекта. Конечно, заранее знал, что для подрыва можно использовать порох. В карьере я всё это видел и обратил внимание, что взрывчатку нужно закладывать как можно глубже. Кроме того, видел, что для воспламенения применяются детонаторы. Но поскольку я не мог использовать фитиль, иначе должен был бы стоять рядом, чтобы зажечь его, мне пришлось искать другой способ. Несмотря на то, что я никогда не держал в руках оружия, всё же представлял, что при спуске курка в нём разжимается пружина и ударяет по донцу патрона. Моей следующей мыслью было использовать винтовочные патроны для поджига капсулей-детонаторов.

В июне или июле я закупил патроны в одном из магазинов и начал мастерить модель моего устройства, которую стал испытывать и дорабатывать в дальнем фруктовом саду, принадлежащем моим родителям. После трёх или четырёх испытаний я был удовлетворен.

Сложнейшей проблемой оставалось найти решение, чтобы устройство сработало в заранее установленное время. С самого начала было понятно, что надо использовать часовой механизм. У меня они всегда водились — я их покупал сам или получал, когда хозяин не мог выплатить зарплату; в свободное время мастерил к ним корпуса, монтировал туда часы и продавал или дарил.

Способ передачи движения часового механизма на взрывное устройство первоначально представлялся иным, чем тот, что я использовал в конце концов в Мюнхене. Первоначально я хотел применить электромагнитный указатель поворотов, которые устанавливают на автомобилях, и с помощью батареи привести все это в действие. Уже в Мюнхене я изменил этот план. В остальном все было окончательно продумано к концу июля 1939 года.

Я хотел как можно скорее переехать в Мюнхен, чтобы там завершить свою конструкцию. Только на месте мог я узнать, насколько глубоко удастся пробить колонну, и тем самым определить размеры моего агрегата.

С собой в Мюнхен я взял 5 или 6 часовых механизмов, аккумуляторную батарею напряжением 6

вольт, 3 автомобильных указателя поворота, 1 8-сантиметровую гильзу, 2 часовые гири, 250 пластинок прессованного пороха, 150 подрывных патронов, 122 детонатора, упаковку с патронами для винтовки и инструменты..

Мой общий план действия был мне понятен. Ещё в 1938 году, когда я пришёл к своему решению, я понимал, что не смогу остаться в Германии. Я хотел, прежде чем мои часы приведут в действие взрывное устройство, уже оказаться в Швейцарии. Мне были хорошо известны пограничные переходы вблизи Констанца.. В Швейцарии я мог устроиться столяром или на другую работу. Я не надеялся получить там какие-либо преимущества как убийца фюрера. В немецкую полицию я собирался написать оттуда, что лично несу ответственность за убийство и не имею сообщников.

Во время моего пребывания в Мюнхене с 5 августа до 6 ноября 1939 года я в общей сложности 30-35 ночей провел в зале Бюргеройкеллера.

В эти дни приходил между 20 и 22 часами, занимал место за столиком в небольшом пивном зале и заказывал еду и пиво. Расплачивался около десяти вечера и через гардеробное помещение проходил в незапертый большой зал, поднимался по лестнице на галерею и прятался в кладовке. Там хранились пустые картонные коробки. В этом укрытии я оставался, пока зал не был закрыт. Это происходило между половиной одиннадцатого и половиной двенадцатого. Перед тем знакомая мне продавщица сигар из этого за-

ведения, фрау Меркель, кормила живших там кошек. После того, как зал запирали и я мог удостовериться, что все ушли, я спускался вниз. Утром обычно приходили открывать зал между семью и восемью часами утра. Мою работу я заканчивал между двумя – тремя часами ночи, и потом до утра прятался в каморке.

Однажды меня застал там какой-то человек. Он взял пустую коробку и вышел, не сказав ни слова. Я вышел следом и увидел его вместе с директором. На галерее стояли пустые столы, и я сел за ближайший и сделал вид, будто пишу письмо. На вопрос директора, что я тут делаю, сказал, что меня беспокоил фурункул на бедре и мне пришлось искать безлюдное место, чтобы что-то предпринять, а сейчас пишу письмо. Директор сказал, что тут мне не место и чтобы я прошёл к свободному столику в сад.

В деревянной обшивке колонны я выпилил доски таким образом, чтобы можно было из них сделать дверцу и поставить её обратно в образовавшееся окно, закрепив изнутри на петлях и снабдив засовом. В закрытом виде стыки не бросались в глаза. Засов я мог сдвигать, продев в тонкую щель лезвие ножа. На изготовление дверцы у меня ушло три ночи.

Дальнейшие работы были связаны с долблением кирпичей колонны, для чего мне понадобились зубила, долото и другие инструменты. Сначала пришлось снимать штукатурку, с этим я покончил за одну ночь. Чтобы вынимать кирпичи, приходилось сверлить, долбить, выковыривать стамеской

по кускам. В цементном растворе между кирпичами попадались грубые осколки камня, которые трещали под сверлом, и приходилось обматывать заднюю его часть тряпкой и сильно давить на сверло, чтобы было не так шумно. Требовалось всё время быть осторожным, чтобы избежать лишнего шума. Очень кстати пришлось то, что в туалете этого заведения каждые десять минут срабатывал автоматический слив воды. Эти немногие секунды я использовал для работы, чтобы потом дожидаться, когда сливное устройство снова нарушит тишину. Чем глубже погружался в колонну, тем медленнее шло дело.

Щебень, пыль от сверла и камни я собирал в мешок, закреплённый под выдалбливаемым отверстием. Когда он наполнялся, я пересыпал мусор в картонную коробку и потом относил её в камеру, служившую мне укрытием. Днём приходил в заведение с чёрного хода, поднимался в эту кладовку и пересыпал мусор в захваченный с собой саквояж. На улице на берегу Изар опорожнял содержимое в русло реки. Мусор, пыль и всё, что падало во время работ на пол мимо мешка, я тщательно убирал.

Позднее я оббил упомянутую дверцу на колонне изнутри листом жести. Это было необходимо, чтобы при простукивании не обнаружилась полость, а кроме того, чтобы при случайно вбитом гвозде (их вбивали при развеске украшений) не повредили часовой механизм. Инструменты я оставлял в полости, которую выдалбливал в колонне. Только первое время мне приходилось

прятать их в одном из ящиков в кладовке. Всё это время я пользовался фонариком, который обматывал голубым платком.

Днем, в квартире, где остановился, я собирал свою конструкцию. Её точные размеры стали мне окончательно известны только к началу октября, когда я уже представлял объём полости в колонне зала.

Для надежности я решил использовать два часовых механизма. Я мог запустить их заранее, настроив на несколько дней вперёд с точностью до минуты. Опасаясь, что тиканье привлечёт внимание, я поместил механизмы в деревянные корпуса, обшитые внутри пробкой сантиметровой толщины. О существовании такой звукоизоляции я узнал из газетной рекламы, после чего отправился в контору фирмы, где мне продали этот материал.

Многие детали и приспособления я покупал или заказывал в различных мюнхенских мастерских, там же по моему заказу выполнялись мелкие слесарные и иные работы.

В конце октября я написал сестре в Штутгарт, что собираюсь вскоре её навестить и спрашивал, нуждаются ли они с мужем в следующих вещах: костюмах, рубашках, носках, пуловере, фотоаппарате, ботинках (2 пары), столярных инструментах, зонтике и шляпах (3 штуки). Она ответила, что все вещи в наше время могут пригодиться, но само письмо ей непонятно: ухожу ли я в армию или собрался куда-то за границу?

Я не ответил, но 6 ноября прибыл поездом в Штутгарт вместе со всем своим багажом. На расспросы родни отвечал только, что собираюсь „за забор”. И добавлял, что должен это сделать и уже ничего не изменить. На вопросы „куда?” отвечал „в Швейцарию”.

На следующий день около четырёх часов дня я отправился поездом в Мюнхен. 7 ноября в 21:00 или 21:30 я приехал на мюнхенский вокзал и сразу направился к Бюргербройкеллеру. Через главный вход и гардеробное помещение прошёл в большой зал, где было пусто и темно. Через дверцу колонны я прислушался, идут ли часы. Раздавалось очень слабое тиканье. Лезвием складного ножа я открыл дверцу и сверил время на механизме с тем, что показывали мои ручные часы. Часы шли точно, и мне не потребовалось ничего настраивать дополнительно. Ночь снова провёл в своём укрытии. На рассвете услышал, как отпирают двери зала и в 6:30 покинул его через служебный выход рядом с кухней. Около 10 утра я отправился в поезде по маршруту Ульм – Фридрихсхафен и оттуда пароходом в Констанц.

Еще в 1938 году я специально побывал в Констанце, чтобы узнать, стала ли строже охраняться граница по сравнению с тем временем, когда я там жил и ездил на работу в Швейцарию. Никаких изменений я не заметил.

Я верю, что весь мир и жизнь человека были созданы Богом. Я также считаю, что в мире нет ничего такого, о чём не знал бы Бог. Люди бу-

дут иметь полную свободу действий, но Бог сможет вмешаться, когда захочет. Он также дал мне полную свободу действий. Я не знаю, мешал ли он тому, что я делал, и он ли позволил фюреру уйти раньше.

Иоганн Георг Эльзер
(Из показаний в гестапо*).

* * *

1 сентября 1939

Германия вторгается в Польшу. Начало Второй мировой войны становится первым поражением Эльзера, ставившего целью ее предотвратить. В то же время эти события окончательно подтверждают его предчувствия и, возможно, придают новые силы в ночных работах по завершению плана.

8 ноября, 10:00

Удостоверившись, что заложенное в колонну взрывное устройство функционирует, как задумано, Эльзер поездом покидает Мюнхен.

Сосредоточенный на исполнении последних штрихов плана, он не обращает внимания на появившуюся в газетах информацию о том, что из-за военных действий власти меняют распорядок традиционного празднования годовщины путча: с речью на этот раз выступит не Гитлер, а Рудольф Гесс, и произнесена она будет не 8-го, а 9-го ноября. Взрыв в пустом зале мог стать его второй и главной неудачей.

* Фрагменты, пересказ с нем. по: Sprengstoffanschlag im Bürgerbräukeller, München am 8. November 1939. Vernehmung des Täters. (Berliner Verhörprotokoll). Auf: georg-elser-arbeitskreis.de; Georg Elser – Sprengstoffanschlag im Bürgerbräukeller in München am 8. November 1939. Vernehmung des Täters. Liliom Verlag, Waging am See 2009. (Faksimile der Gestapo-Verhörprotokolle).

В последний момент фюрер все же решает лично приехать в Мюнхен и выступить, как обычно, 8-го числа. Все возвращается на круги своя, но... в связи с необходимостью отъезда в тот же вечер в Берлин, Гитлер начинает свое выступление на полчаса раньше и значительно его сокращает.

Вечером Эльзер добирается до границы (она проходит в городской черте Констанца). По расчетам, у него остается еще примерно полчаса в запасе до момента, когда в Мюнхене должен раздаться взрыв.

20:45

Эльзер остановлен немецкими пограничниками для проверки. При досмотре обнаружены документы с пометками о складах боеприпасов и данные о поставках оружия (Эльзер, как потом выяснилось, взял их с собой для передачи швейцарским властям). В карманах находят случайно завалявшиеся части детонатора. Внимание привлекают также плоскогубцы (они были прихвачены на случай перехода через изгородь с колючей проволокой). Замечена также почтовая открытка с видом Бюргербройкеллера, которой в тот момент еще не придают значения.

21:00

Гитлер заканчивает выступление.

21:07

Гитлер покидает зал и направляется к вокзалу. Вслед за ним уходят Борман, Геббельс, Гесс, Розенберг, Гиммлер и другие.

21:20

На месте, где только что выступал фюрер, раздается мощный взрыв, унесший жизни нескольких человек и ранивший десятки.

Й. Геббельс. Из дневника:

Вечером в Бюргербройкеллере. Старые товарищи! Многих не хватает, многие появились в серо-полевой форме. Фюрер принят с понятным ликованием. В своей речи он дает резкую отповедь Англии. Острейшие упреки британской разбойничьей политике. Мы никогда не капитулируем. Готовы к 5 годам войны. И Англия узнает наше оружие. Энтузиазм переполняет зал. Эта речь станет мировой сенсацией.

Сразу после выступления вместе с фюрером возвращаемся в Берлин. Ужинаем и разговариваем в купе... В Нюрнберге получаем ужасную весть, мне приходится передать фюреру телеграмму: вскоре после нашего отбытия из Бюргерброй там произошел взрыв. 8 погибших и 60 раненых. Своды обрушились. Чудовищно. Фюрер считает это мистификацией. Но я запрашиваю Берлин: все точно.

...Покушение несомненно спланировано в Лондоне и осуществлено баварскими легитимистами. Фюрер диктует коммюнике, которое я в Нюрнберге предаю гласности*.

8 ноября, вечер

Радиостанции передают первые сообщения о попытке покушения. Рассылаются телеграммы с предписанием закрыть границы и усилить бдительность.

Задержанный в Констанце Эльзер начинает вызывать подозрение в соучастии, его передают местным службам гестапо. Ночью проходит первый допрос.

9 ноября

Эльзера переводят в Мюнхен. На вопросы о причастности к событиям в Бюргербройкеллере он отвечает отрицательно.

13 ноября, Мюнхен

Ф. Губер, глава Специальной комиссии по расследованию покушения в Бюргербройкеллер:

* По материалам сайта georg-elsler-arbeitskreis.de, перевод с нем.

Два офицера ввели в комнату невысокого, худощавого человека. Он выглядел немного старше тридцати лет. Лицо его было серьезным и доброжелательным... Один из офицеров с насмешкой сказал: «Ну, посмотрите теперь на этого человека. Может он быть преступником?» Он был прав. Эльзер не походил на убийцу.

Он казался даже застенчивым, будто и не догадывался, чего мы от него хотим. Через некоторое время я начал понимать его швабское произношение. После того, как мы тщательно обсудили его личные данные, я перешел к вопросу его пребывания в Мюнхене. Стал расспрашивать о пивных заведениях, в которых он бывал. Эльзер увиливал. На вопрос о Бюргерброй отвечал про Лёвенбройкеллер. Я намеренно стал расспрашивать о посторонних вещах, после чего резко вернулся к вопросу: бывали ли вы когда-нибудь в Бюргербройкеллере? Он снова стал вилять, и мне стало понятно, что он имеет к этому какое-то отношение.

Я попросил его посмотреть мне в глаза. Около пяти минут мы безмолвно смотрели друг на друга. И в этот момент я явственно представил именно его там у колонны... Он сверлит, ползает на коленях... Я велел ему встать со стула, выйти на середину комнаты и спустить брюки... Сказал, что хочу видеть его колени... Он посмотрел мне в лицо, на глазах появились слезы...

Колени были опухшими.

Я сказал ему, чтобы он высказывался дальше «без увещаний». Под этим мы, криминалисты, подразумеваем вопрос, когда обвиняемый не отвечает на вопросы, а рассказывает от себя и своими словами.

«Это был я...» В последовавшем признании его манера говорить была скромной и сдержанной*.

16 ноября

После получения письменных признаний Эльзера переводят в центральное отделение гестапо в Берлине.

* По материалам сайта georg-elser-arbeitskreis.de, перевод с нем.

19-23 ноября, Берлин

В течение пяти дней с утра до вечера продолжают допросы. Подробнейшим образом Эльзер рассказывает о своем жизненном пути и различных житейских обстоятельствах, о взглядах и позициях, о своих родных, о случайных и близких знакомствах, о том, как выработывался план покушения и о всех мельчайших деталях, связанных с его исполнением. Исчерпывающими сведениями пытается побороть неверие следователей в то, что от начала до конца действовал самостоятельно.

Начало 1941 года

Без суда, в статусе «особого заключенного фюрера», Эльзера отправляют в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Предполагается, что Гитлер решил провести публичный процесс над ним после «окончательной победы».

Начало 1945 года

Эльзера переводят в концлагерь Дахау.

9 апреля 1945 года

За месяц до капитуляции по указанию Гитлера Георг Эльзер застрелен в Дахау.

С самого начала нацисты искали за его спиной тайные союзы, иностранные разведки, в первую очередь подозревали англичан. Но и многие из тех, кто позднее осуждал фашизм, склонялись к подобным предположениям, выдвигали различные версии: Эльзер — офицер СС, коммунист, подставное лицо, чья-та пешка... И только обнаруженные в 1964 году протоколы берлинских показаний, 203 страницы машинописного текста, окончательно развеяли сомнения в том, что вызов Гитлеру смог бросить простак-одиночка, один из немногих, кто не поддался массовому психозу национал-социализма.

ЛЮДВИГ

Людвиг — одно из доминирующих имен в династии Виттельсбахов, правивших Баварией на протяжении 738 лет. Во времена герцогства известны Людвиг I Кельхаймский, Людвиг II Строгий, просто Людвиг III и, наконец, Людвиг IV Баварец, который помимо герцогского сана получил титул римско-немецкого короля, а затем и императора Священной римской империи. Двое его сыновей (от разных жен) также правили под именем Людвиг: V и VI. За ними последовал ряд других — VII Бордатый, VIII Горбатый... Не буду перечислять остальных, но отмечу, что в последний, королевский, период монархии три представителя династии с именем Людвиг носили баварскую корону — Людвиги I, II и III.

Многие Виттельсбахи проявили незаурядный талант, энергию, мужество и государственную мудрость, и тем заслужили почетное место в баварской истории. Но только одному выпала в последние полтора столетия чуть ли не всемирная известность. Король Людвиг II, правивший в течение двадцати двух лет (1864-1886), стал символом Баварии, ее эмблемой. О нем и его замке Нойшванштайн, усадьбе Линдерхоф, дворцово-парковом ансамбле Херренкимзее написано столько, что, казалось бы, можно уже и воздержаться. Но в том, может, и кроется одна из загадочных особенностей историко-культурного феномена «Людвиг и его замки», что он представляет собой интригующий миф, сотканный из фактов и домыслов, миф притягивающий, восхищающий, влекущий к спору и питающий новые фантазии.

В ПОИСКАХ ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА

Чайковский и Нойшванштайн

Вот некоторые цитаты, характеризующие распространенное мнение о связи балета «Лебединое озеро» со знаменитым замком баварского короля Людвига II Нойшванштайн и лежащим неподалеку от него небольшим озером «Schwansee» (лебединым).

...Воспеть Лебединое озеро, не побывав там, Чайковский не мог, и вот в 1876 году он едет в Баварию.

...Видом Нойшванштайна был очарован Чайковский — и именно здесь, как полагают историки, у него родился замысел балета «Лебединое озеро».

Чайковскоеды полагают, что композитора вдохновило на создание балета посещение Баварии. В Германии музыкальный гений любовался замком Нойшванштайн — «лебединым замком» монарха Людвига II.

Первая цитата принадлежит художнику Тимуру Новикову, посвятившему теме «Людвиг II и „Лебединое озеро“ Чайковского» свою выставку в 1996 году. Две вторые — в буквальном или похожем изложении — можно легко найти на сайтах туристических фирм или в сетевых рассказах многочисленных путешественников к альпийскому замку. Апелляция к неким «историкам» и «чайковскоедам» во всех случаях зависает как «фигура

речи». Непреложным стержнем остается формула, заимствованная из массовой культуры: сочинил, значит перед тем увидел, очаровался, вдохновился... Но увидел ли?

Обратимся к хронике появления балета.

1871 — Чайковский пишет одноактный балет для детей «Озеро лебедей» (домашняя постановка в кругу родственников композитора).

1875 — дирекция императорских театров заказывает композитору балет с таким же названием (предположительно на либретто Бегичева и Гельцера); в сюжете звучат отголоски старогерманских легенд.

1876 — в августе открывается вагнеровский театр в Байройте, Чайковский присутствует в качестве корреспондента «Русских ведомостей», представлен Вагнеру.

1877 — в марте в Москве состоялась премьера балета.

В предшествовавшие премьере годы Чайковский дважды побывал в Баварии: в августе 1870-го проездом из Швейцарии в Вену, задержавшись только на одну ночь в Мюнхене; шесть лет спустя он посетил вагнеровский фестиваль в Байройте*. Второй приезд — 1876 год — казалось бы, совпадает со временем работы над балетом. Но если обратиться к датам, картина меняется: Петр Ильич приезжает в Баварию в августе, а на партитуре балета читаем написанное рукой композитора: «Конец!! Глебово. 10 апреля 1876 года»**.

На этом можно было бы поставить точку. Но поскольку адепты ходячих гипотез не всегда готовы сложить оружие после пер-

* Летопись русского Мюнхена. 1785-1995. Люди. Факты. Цитаты. / Автор-составитель В.Ф. Шубин. Мюнхен. 2022. С. 59, 357

** Чайковский П. Полное собрание сочинений. В 63-х томах. Т. 11(а). М. 1957. С. XV.

вого штурма, попробуем совершить вместе с композитором гипотетическое путешествие к «окрылившему» его замку.

В Байройт Чайковский добирается 12 августа поездом из Парижа (с ночлегом в Нюрнберге) и остается в нем несколько дней. Тремя днями раньше Байройт покинул король Людвиг. Он посетил генеральные репетиции «Кольца нибелунга» и еще до открытия фестиваля (оно состоялось 13 августа) уехал, пообещав вернуться к его закрытию. Из Байройта его величество отправился поездом к... Лебединому озеру — словно поманил композитора в свой сказочный край. Петру Ильичу пришлось бы проехать по железной дороге через Мюнхен в направлении Альп, пересечь с северо-востока на юго-запад почти всю Баварию, выйти на станции Марктобердорф, оттуда конной тягой еще несколько часов добираться до довольно глухого местечка на границе с Австрией — Швангау, что в переводе означает Лебединый край.

Там в замке Хоэншвангау, расположенном над двумя озерами — Альпзее и Шванзее (последнее переводится как *лебединое*), время от времени и проживал король Людвиг. Жил одиноко, замкнуто, почти никого не принимая, тем более сторонних визитеров. Напротив замка, но выше в горах, шло строительство: возводился «Новый Бург Хоэншвангау», известный нам как Нойшванштайн*. С высоты этого замка открывается захватывающий пейзаж — Альпы, замок Хоэншвангау и оба озера.

В отличие от Альпзее, на берегу которого еще при отце Людвиге обустроилась придворная деревня, Лебединое озеро (Шванзее) спряталось в стороне так, что Петру Ильичу при-

* Название Нойшванштайн, означающее по-русски Новый лебединый камень (или утес), появилось позже. Оно бытовало во время строительства в местном обиходе, откуда только в июне 1886 года, когда к замку было привлечено широкое внимание в связи с арестом в нем короля, было подхвачено, перешло в официальные сообщения, газетные публикации и почти сразу вытеснило прежнее название «Новый Бург».

шлось бы подниматься в горы, чтобы увидеть его хотя бы сверху, или отправиться к нему лесными тропинками. Возможно, эти препятствия и не вызвали бы особых затруднений, но вот со второй целью гипотетической поездки 1876 года — увидеть «Новый Бург» Людвига — возникли бы непреодолимые сложности: строение было возведено под кровлю только в январе 1880-го, то есть почти три года спустя после премьеры «Лебединого озера». И еще некоторое время оставалось закрыто от взора строительными лесами.

Можно поставить вторую и последнюю точку: «очароваться» вырывающимся из скалы и словно парящим над долиной и озерами «лебединым» замком Людвига Петр Ильич в период работы над балетом никак не мог. Не лишним будет добавить, что композитор Чайковский не замечен в поле внимания Людвига-меломана.

Ревнителям гипотезы в виде утешения (или примирения) можно напомнить историю с Уолтом Диснеем. В 1950-х годах Нойшванштайн стали узнавать в созданных им стилизованных образах — в фильмах «Золушка», «Спящая красавица» и в архитектурном воплощении на территории калифорнийского парка «Диснейленд». Стала напрашиваться уверенность в том, что великий мультипликатор лично видел замок Людвига во время путешествия по Европе в 1935 году, восхитился им, очаровался... Но вот что занятно: Дисней действительно побывал в Баварии и даже проезжал недалеко от тех мест. На пути из Мюнхена в Линдау достаточно было сделать всего лишь небольшой крюк, чтобы посетить замок. Но не посетил, проехал мимо.

И все же сюжет «Чайковский и Нойшванштайн» заслуживает дальнейшего внимания — не как «факт» биографии композитора, а как миф народного краеведения. Миф, который родился в стороне от научного знания, сложился и живет как украшение или романтическое дополнение к истории прославленного бале-

та. И который по-своему перекликается с преданиями и легендами, появившимися вокруг имени баварского монарха.

Широкая известность Нойшванштайна постепенно стала набирать силу с конца 1880-х годов — после неожиданной гибели Людвига в 1886-м, когда замок, прежде недоступный посторонним, включая родственников короля-затворника и баварский двор, становится музеем, в который охотно потянулись путешественники. Тогда же стали появляться изображения Нойшванштайна в иллюстрированных изданиях или в виде печатных оттисков и почтовых открыток.

Именно в это время о балете Чайковского как раз и забыли — его первая постановка не принесла ему славы. И только в 1895-м (два года спустя после смерти композитора) благодаря новому сценическому решению в Мариинском театре балет оказался, наконец, по-достоинству оценен и прочно вошел в русский, а потом и в мировой репертуар.

К тому времени вокруг образа покойного Людвига уже несколько лет развивалось стихийное мифотворчество, опережавшее биографическую разработку. Катализатором этого процесса становились не возведенные по его капризам дворцы и замки, а, в первую очередь, трагический и таинственный финал — признание короля психически нездоровым, смещение с трона и его смерть на сорок первом году жизни (ведь и до сих пор доподлинно не доказано: бросился ли в воду, случайно утонул или убит и сброшен в Штарнбергское озеро?), а также оставленные им загадки — наследие свойственной ему скрытности и многолетнего затворничества в Альпах.

В Филадельфии несколько месяцев спустя после смерти Людвига публикуется интервью, якобы данное им за многие годы до того некоему Льву Вандерпулу. Король неожиданно, в несвойственной ему откровенной манере, изливает незнакомцу душу, опровергает свое безумие и предостерегает тех, кто готов

с ним расправиться, выдавая за душевнобольного: «Назовет ли Бог меня так же, когда однажды призовет к себе?» Все это отдает очевидной мистификацией: Вандерпул остался известен только благодаря своим авантюрам и литературным подделкам. Но фикция была в точку, звучала трогательно и правдоподобно, а потому не обернулась бабочкой-однодневкой, напротив — стала чуть ли не закладным камнем в созидании, может быть, самого популярного баварского мифа.

Европейский континент откликнулся серьезнее — в литературных жанрах.

«Король! Единственный король в сей век неправый!...» — стихотворение Поля Верлена, перевод Валерия Брюсова.

«Король Луны» — образ в одноименном рассказе Гийома Аполлинера.

Свою лепту вносит и русский Серебряный век. Максимилиан Волошин начинает рассказ о путешествии в горную Баварию цитатой:

Вспомните прекрасную панораму Штарнбергского озера в Баварии и на берегу его посиневший, рыбачьими крючьями в воде оцупанный труп короля-поэта, короля-отшельника, короля-трубадура... Он жил среди безумных золотых мечтаний, в душе носил отраву Гамлета и погиб никем не понятый, никем не любимый, никому не нужный, неизвестно как и неизвестно почему*.

Дальше в повествовании Волошина читатель не встречает ни одного слова о Людвиге, но приведенная цитата уже сыграла роль координационной метки предлагаемого сюжета: Бавария, это там, где утонул (убит?) король. Отсюда, из этого южно-германского королевства, начинается шествие по миру образа покойного Людвиг — «поэта, отшельника, трубадура, Гамлета»...

* Очерк «Обер-Аммергау», автор цитаты Волошиным не указан.

Факты и домыслы растекаются во все концы и проникают даже в семейные предания.

Мамины рассказы! О чем? О чем только не! О старом короле Лире, изгнанном дочерьми, которым он отдал корону и царство, о его ночи под грозой в поле... О молодом Людовике Баварском, любившем луну и пруды, музыку... жившем ночью под музыку Вагнера — театр и оркестр, — а днем спавшем. Он утонул в озере (или бросился в него). Мама с дедушкой плыли по этому озеру на лодке. Мама, сняв с пальца кольцо, опустила с ним руку в воду, разжала руку — и оно, замедленное водой в падении, ушло, *золотное*, в глубину... Это мы понимали.

Анастасия Цветаева

Траурное место притягивало впечатлительных и ранимых. По сообщениям газет, менее года спустя после гибели Людвига на том же месте две местные девушки из благородных семей, попавшие в полосу непонимания, меланхолии и одиночества, крепко сцепившись руками, добровольно уходят на дно Штарнбергского озера.

Семейную историю с кольцом не раз вспоминала и Марина Цветаева. В 1926 году она писала о ней В.Ф. Булгакову (литератору, мемуаристу и последнему секретарю Льва Толстого).

Людовик Баварский — страстная любовь моей 16-летней матери. Проезжая место, где утонул, бросила кольцо — обручилась. Так что (*Wahlverwandschaften*) некоторым образом — мой отец*... Сама бы с наслаждением поехала на его озеро, где м. б. еще бродит тень моей 16-летней матери

* Правильно: *Wahlverwandschaften*; это очевидная отсылка к одноименному роману Гёте («Избирательное сродство»), в котором заимствованный из химии термин избирательного сродства используется в качестве метафоры в художественном осмыслении брачных отношений. В современных изданиях писем Цветаевой комментарий к этому месту, к сожалению, ограничивается только неточным переводом.

и достоверно лежит ее кольцо.

Десятилетие спустя в письме к Ариадне Берг всплывают новые подробности.

...Моя мать, шестнадцать лет от роду, проезжая на пароходе по месту гибели Людовика Баварского и явственно услышав подводную музыку (все завтракали в каюте, она была одна на палубе, и музыка была для нее) бросила ему, т. е. в воду, свое первое, обожаемым и обожающим отцом подаренное, кольцо.

В первом письме Марина Ивановна вспоминает также посвященное Людвигу стихотворение Верлена и цитирует русский стих (с пометкой «чей, не помню»): *«В горах — как здесь, в покое царском — / Торжественная тишина, / И о Людовике Баварском / Грустила верная луна»...*

В лунном свете, который настойчиво пронизывает не только воспоминания сестер Цветаевых, но и всю людвиговскую мифологию, многое призрачно и подвижно — подобно бликам на волнистой поверхности озера. Смещается даже календарь: в год 16-летия героини сюжета (будущей матери Марины и Анастасии Цветаевых) Людвиг был еще жив. История с кольцом могла произойти между 1886-м (год смерти короля) и 1891-м, когда профессор Цветаев просит руки 23-летней Марии Мейн. Как раз в эти годы память о Людвиге приобретает характер баварской легенды, и семейное предание Цветаевых оказывается едва ли не первым ее русским отражением.

Еще один, более поздний, отголосок встречаем, погружаясь в нюансы личной жизни Бориса Пастернака. На этот раз стержнем окрашенного легендой сюжета служит несостоявшаяся женитьба Людвига на баварской принцессе Софии, а точнее — обреченные попытки короля пересилить себя и уверовать в неминуе-

мое взаимное счастье с избранницей. Пастернак в поезде, Людвиг же «на борзom коне» (и, конечно, в лунном свете!) спешат навстречу своим дамам, хотя и понимают, что предстоящий «сентиментальный» момент — самообман, лишь оттягивающий предуготовленную разлуку.

Переводчик Николай Вильмонт, друг и свояк Бориса Пастернака, вспоминал о сложных взаимоотношениях поэта с первой женой.

...Установился даже какой-то особый обряд: негодующая Евгения Владимировна уезжала в Петроград (или, позднее, в Ленинград) «пожить у мамы»; потом начинались переговоры по междугородной телефонной сети, и Борис Леонидович выезжал в Бологое, где супруги благополучно воссоединялись и с наигранно веселыми и примиренными лицами опять водворялись на Волхонке...

— Вот опять еду в Бологое... — сказал мне как-то Борис Леонидович, морщась, с тоскою в глазах и в голосе...

— Скачете, как Людовик Баварский?

— Странно, я сам об этом подумал, — откликнулся он к моему испугу и тайной удовлетворенности.

Не так уж «странно» это было. Мы оба читали, и не одну, биографию Рихарда Вагнера, а там отводилось немало места истории взаимоотношений композитора с «его баварским величеством». Почти в каждой из них автор говорил о том, что Людовик II в лунные ночи скакал на борзom коне к своей нареченной невесте. Но брак короля (с одной из принцесс младшей, герцогской, линии Баварского дома) так и не состоялся из-за полной неспособности Людовика «познать женщину». И луна, и конь, и романтические объятия обрученных были только оперной мизансценой — сентиментальнейшим «*O, Du mein Augenstern!*»*, быть может, с горькой примесью трагической надежды на преодолимость врожденного изъяна.

* О ты, звезда моей жизни! (нем.; перевод Н. Вильмонта)

Зарождению русской легенды о Чайковском и замке Нойшванштайн, может быть, в первую очередь мы обязаны старшему современнику Пастернака, Цветаевой и Волошина — художнику Льву Баксту. В 1904 году он оформляет программку балета «Лебединое озеро» для Мариинского театра (бенефис Матильды Кшесинской). Рисует замок, чем-то напоминающий Нойшванштайн, внизу плывущих по озеру лебедей...

Видел ли Бакст замок своими глазами (он был участником мюнхенских выставок конца 1890-х и мог бывать в этих краях) или рисовал под впечатлением одной из иллюстраций, вызвавшей ассоциации с музыкой Чайковского?

Благодаря Баксту, а в иных случаях и независимо от него, «лебединый край» в Альпах начинает восприниматься как созвучный музыке балета, своего рода естественная декорация к нему.

По-своему, это гармонично дополняет замысел самого Людвиг, по желанию которого в интерьерах замка были воспроизведены сюжеты германской мифологии, используемые в операх боготворимого им Вагнера. Так сошлись в этом месте два гения — обратившийся к германским сагам Чайковский и их интерпретатор Рихард Вагнер.

Но и сам Людвиг, отшельник и мечтатель, «заколдованный принц», воспринимается в клубке этих ассоциаций совсем не сторонней фигурой.

Король, никогда не слышавший музыку балета Чайковского, и композитор, никогда не видевший Нойшванштайна, сближаются в художественном воображении потомков, будь то Тимур Новиков с его «неоакадемической» выставкой в технике текстильного коллажа «Людвиг II Баварский и „Лебединое озеро“ П.И. Чайковского» (Москва, 1996; Петербург, 1998) или Джон Ноймайер, поставивший на музыку Чайковского балет о баварском правителе — «Иллюзии как Лебединое озеро» (Гамбург, 1976; балет

возобновлен в недавнее время).

В поисках Лебединого озера мы снова и снова погружаемся в волшебные миры, созданные двумя современниками — русским композитором и баварским королем.

АЛЬПИЙСКИЙ МАРЛИ

От Людовика-солнца к Людвигу-луне

Два загородных дворца Людвига II инспирированы эпохой и личностью Людовика XIV — *Новый дворец Херренкимзее* и *Линдерхоф*.

Первый построен им на самом большом баварском озере Кимзее, на острове «Херрен» (*Herreninsel*), что в переводе на русский, с оглядкой на существовавший там прежде мужской монастырь, часто ошибочно обозначается как *Мужской*. Однако в религиозном контексте название звучит как *Господний* или *Остров Господа Нашего*. На нем, неподалеку от комплекса зданий бывшего монастыря Людвиг строит «Новый дворец», а по сути воспроизводит Версаль времен «короля-солнца» — с анфиладой парадных комнат, воссозданных с максимально возможным приближением к оригиналу.

В этих покоях словно оживает кумир баварского монарха с его многолюдным окружением, избранные представители которого удостоивались привилегий ранним утром встречать своего властителя у полога его кровати — как восходящее светило, сопровождать его в течение дня или присутствовать при отходе ко сну.

Второй дворец — *Линдерхоф* — звучит репликой парадной дачи Людовика XIV *Марли-ле-Руа*. Репликой по духу, но не архитектурным подобием. Французский *Марли* был задуман как место уединения и отдыха короля в узком кругу — в противовес

Версалью. Это не исключало приглашения туда сторонних персон — знак близости, доверия или признания особых государственных заслуг. В баварском «Марли» ничего подобного не допускалось. Линдерхоф Людвига II — не только камерная альтернатива мюнхенской резиденции, но и сугубо личное пространство, приватная сфера. Впрочем, такой же характер носили и замки Хоэншвангау, Нойшванштайн, усадьба Берг, а с ними и различные горные хижины, обустроенные для посещений и пребывания короля. Все они тоже в известной степени — «баварские Марли». Но Линдерхоф занимает особое место: в последние двенадцать лет жизни Людвига, отмечаемые биографами как время его затворничества, редких появлений в столице и отсутствия на публичных мероприятиях, восемь в общей сложности выпадают на эту усадьбу.

Она словно спряталась в складках альпийских склонов в долине Гразванг в нескольких километрах от австрийской границы. Горный ручей Линдер и растущие там липы (Linde) дали ей имя. Линдерхоф обживал отец Людвига король Максимилиан II, любитель охоты и горных походов. Наследника мало интересовал отстрел животных, его притягивала сюда родная с детства альпийская природа, возможность горных прогулок и, что стало играть со временем важную роль, удаленность от Мюнхена. «Какая тоска у меня по горам, — замечает он в одном из писем. — В горах — свобода, и везде, куда не приходит человек со своими терзаниями».

О перестройке отцовского охотничьего хозяйства Людвиг задумывается на пятом году своего правления — в 1868-м. В объяснении своих планов ссылается на Людовика XIV, который, спасаясь от «утомительной жизни, от принужденности к обременительной монотонности стеснявшего его придворного церемониала... строит скромный обособленный Марли, чтобы на миг отдышаться там от представительских забот». «Я также хочу...

построить в Линдерхофе небольшой павильон и не слишком большой сад в ренессансном стиле. Все скромно». В отношении архитектурного оформления «павильона» следовало точное указание: «не только фасады, но и интерьеры должны быть выполнены строго в стиле Людовика XIV... от стиля рококо я хочу полностью воздержаться».

Рококо, расцвет которого пришелся уже на годы правления Людовика XV, не соответствовал духу предшествовавшей великой эпохи и ее гения. Однако четыре года спустя, в 1874-м, Людвиг в одном из писем отмечает «великолепие рококо», которое радует его в уже отделанных линдерхофских покоях.

Итак, все-таки рококо, точнее подражание, его нео-форма. Каковы бы ни были вкусовые причины этой метаморфозы, она отражает и очевидную закономерность: как исторически не пришло изнеженное и кокетливое рококо величию Людовика XIV, так, в свою очередь, и необарочный интерьер не соответствовал бы масштабу Людвига II как государственного деятеля. По русской поговорке: не по Сеньке шапка. По немецкой: *Jedem nach seinem Verdienst* (каждому по его заслугам)*.

Заметим, что планы Марли-Линдерхофа появились у Людвига в двадцать три года. Об опыте в управлении государством рассуждать можно разве что с оговорками. Об обременительности, как видим, он уже проговаривается сам. 1868 год относится к переходному и кризисному периоду в его правлении, к перелому в истории германских земель. Наступает решительная фаза в противостоянии севера и юга Германии, которое еще в начале

* Выделяя определенные тенденции, о которых пойдет речь ниже, необходимо оговориться, что ими, разумеется, не исчерпывается ни история архитектурных проектов Людвига II, ни представления о нюансах его политического и психологического портрета. Читатель может обратиться к многочисленным немецким изданиям по этой теме, а также к обстоятельной монографии на русском языке: Евгений Вильк. Людвиг II. Король иллюзий. Мюнхен. 2010.

1860-х пронциательно обозначил русский путешественник и выдающийся правовед Б.Н. Чичерин (дядя будущего наркома иностранных дел СССР).

Немец до сих пор остался тем, чем он был в средние века, носителем двойственного мира: с одной стороны — он добродушный идеалист, с другой стороны — он грубый варвар. Во времена политического бессилия преобладала первая сторона, представляемая преимущественно южными немцами, хотя в то время и север отчасти поддавался тому же направлению. Эта эпоха и произвела тот высший цвет немецкой поэзии и немецкой философии, который составляет неоценимый вклад в духовную жизнь человечества. В настоящее время, с переходом центра тяжести в Берлин, на первый план выдвинулась вторая сторона: добродушный мечтатель затмился, остался грубый варвар.

Пруссия превращалась в гегемона Европы. Ее войны с Австрией и Францией не обходят стороной Людвига: в первой Бавария принимает участие на стороне Австрии (1866 год), во второй принуждена воевать уже вместе с Пруссией против Франции (1870-71). Войны завершаются победой Берлина и объединением германских земель в рейх. Архитектор новой государственности — энергичный «варвар» Бисмарк. Политические и военные обстоятельства вынуждают «южанина» Людвига в конце концов принять его сторону. Прусская наследственность, данная при рождении матерью, не находит развития, в нем прочно пустил корни «добродушный идеалист». Король принимает решения, не потому, что борется, а потому что сдается...

К этому времени и относится появление «великолепного рококо» в его лндерхофских апартаментах, а сам Лндерхоф и другие альпийские поместья становятся для короля все более притягательными в противовес Мюнхену. И если появлений в

столице ему до конца не удастся избежать, то, во всяком случае, из массовых сцен ее жизни центральная фигура монарха исчезает. Летом 1874-го его еще видят в рядах торжественной процессии со Святыми Дарами на празднике Тела и Крови Христовых, осенью на народных гуляниях Октоберфест. В августе следующего года, за одиннадцать лет до смерти, он появляется на параде мюнхенского гарнизона — последний официальный публичный выход. С тех пор бывает в столице урывками — на театральных представлениях (они непременно даются для него без единого стороннего зрителя в зале), на тяготящих его ритуальных семейных и придворных обедах. Выполняет и иные предписанные регламентом обязанности — приемы, аудиенции. Визирует законы, уложения, предписания, грамоты, акты, составленные, как правило, без его участия. Он знает: его работа — подписывать. Впрочем, для этого нет нужды непременно приезжать в столицу. Его малая канцелярия, небольшой придворный штат послушно колесит за ним по Баварии: Берг — Линдерхоф — Хоэншвангау — снова Берг.. Возвращения в Мюнхен для придворных — праздник, для короля они становятся все более тягостными. В одном из писем Вагнеру (январь 1876) выговаривается: «до конца месяца собираюсь пробыть в любимом и таком здоровом Хоэншвангау, и потом снова окунуться в ненавистную жизнь нелюбимого Мюнхена».

А что же Мюнхен, его бюргеры? В 1875-м их удивление вызвало отсутствие Людвига на церемонии открытия памятника собственному отцу — Максимилиану II. Странности и капризы были непонятны, сама столица без короля выглядела осиротелой. И когда через пару недель разнесся слух, что Людвиг намерен вот-вот приехать в Мюнхен, местное бюргерство решило оказать ему особый знак внимания и лояльности — устроить *Ovation*: ликующей толпой встретить на вокзале или у городских ворот и сопровождать до резиденции. Людвиг вежливо отклонил

это предложение и на всякий случай приурочил свой приезд к полуночи. Ночные въезды в столицу стали правилом.

Рассказывают, что его отец, вступив на престол, распорядился снять занавески с окон своих карет. Это случилось в пору европейских революционных брожений 1848 года, и конституционный король демонстрировал свое единство с согражданами. Людвиг трудно представить даже осторожно выглядывающим из-за занавески. Он всегда и везде прячется — за шторками, ширмами, за цветочными вазами, в темной ложе пустого театра или в удаленных альпийских «Марли». Он блюдет свою свободу, свою подсказанную природой потребность быть невидимым, а вместе с тем и независимым от мнений, навязываемых правил и обязательств. Одно из них — желание близких и толпы видеть рядом с ним на троне, в открытой карете, в театре, на торжествах и приемах достойную королеву. Он раним мужской красотой, и это тоже обрекает его на скрытность, необходимость прятаться в своих «Марли» от любопытства, осуждения, злых переудов.

Всеобщим разочарованием встречен был его отказ от уже объявленной помолвки с принцессой Софией Шарлоттой, принадлежащей к одной из ветвей Виттельсбаховского рода. Людвигу было тогда двадцать два года, у близких и подданных еще оставались надежды на его новую помолвку, но они не оправдались.

Непонимание и досаду вызвало и нежелание короля проводить праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею его династии. В 1880-м исполнялось 700 лет с той поры, когда род Виттельсбахов получил при поддержке императора Фридриха Барбароссы баварский трон. За эти столетия представителям династии довелось править также на нескольких суверенных территориях Священной римской империи, а кроме того в Швеции, Дании, Норвегии, Греции, Венгрии. Юбилей Виттельсбахов —

праздник европейского значения. Однако глава Баварского дома не готов оставить по этому поводу привычное одиночество. «Это ужасно, — жалуется он одному из придворных секретарей, — но я не могу больше переносить, когда на меня пялятся тысячи глаз, тысячи раз улыбаться и приветствовать, задавать вопросы, которые меня не касаются, и слушать ответы, которые меня не интересуют...» И совсем уж доверительно добавляет, что когда становится совсем одиноко, он велит позвать кого-нибудь из лакеев или дворовой обслуги и расспрашивает его о доме, семье, местах, где тот родился.

В конце концов, интровертность — не порок, но не в ней кроется главное различие Людвига с отцом. Отец гордился своей «конституционностью» (или, во всяком случае, демонстрировал уважение к ней), для сына, конституционного монарха в четвертом поколении, она выдвинулась, скорее, проклятием потускневшей виттельсбаховской короны.

Предметом его идеализации и поклонения становится доктрина божественного права королей. В русской монархии она закрепилась в титуловании как формула беспрекословности: *божиею милостью*. В баварской действительности XIX столетия та же самая формулировка означала лишь историческое право династии на трон. Личность короля оставалась «священной и неприкосновенной», но его деятельность регламентировалась конституционным правом. Для энергичного правителя сохранялось достаточное поле приложения усилий и не исключалась возможность борьбы за расширение собственных полномочий. Неспособность к политической активности оборачивалась болезненным ощущением марионеточности. И при этом сопровождалась нежеланием расставаться с троном. Перед глазами Людвига был достойный пример — его дед, запутавшийся в реалиях революционного 1848 года и в собственных житейских перипетиях и нашедший в себе силы добровольно сложить монар-

шие полномочия. Внук, столкнувшись с проблемами в первые годы правления, заговаривает о том же, но, скорее, в форме каприза, и полностью игнорирует эту подсказку в критической ситуации последних лет, продолжая держаться за баварскую корону, пока его не объявят психически нездоровым и не приведут погулять на берег Штарнбергского озера.

Его противоядием от воздействия окружающего мира становятся и прежде увлекавшие его параллельные миры: музыка Вагнера, драмы Шиллера, альпийская природа, пристальное вглядывание в прошлое, где перед его взором возникают исторические миражи.

С высоты солнца Людовик XIV спускается на баварский остров на озере Кимзее и невидимый для всех, кроме очарованного Людвига, поднимается к верхней террасе своего сада, любит паркными фигурами, улыбается игре фонтанов, восходит по роскошной посольской лестнице в парадные покои, где его ждут верные приближенные и великие дела...

В этом Версале нет места его строителю Людвигу II Баварскому, и сама мысль использовать скрупулезно воссозданные парадные апартаменты своего кумира для личных нужд показалась бы ему кощунственной. Для собственного пребывания он заказывает отдельную анфиладу, расположение которой топографически совпадает с местоположением покоев Людовика XV, многолетнего правителя Франции и, по общему признанию, несостоявшегося государственного мужа. Баварский король словно превращается в его двойника. На стенах — портреты Людовика XV и его приближенных, напротив кровати — его бюст; мебель и интерьеры комнат — в стиле расцветшего при Людовике XV французского рококо. Версаль в Версале: сакральное центральное пространство великого Бурбона и северный флигель, где витает дух его нерадивого потомка и где пристало жить баварскому королю.

В Линдерхофе та же тенденция: от барокко к рококо. Необычный фасад дворца... В парадной прихожей — скульптура конного всадника — Людовика XIV, солнечные лучи над его головой... Но дальше — в небольших, предназначенных для одинокого мечтателя комнатах пафос абсолютизма меркнет. Элегантные интерьеры подчеркивают личный уют, в котором реальность уступает место миру фантазий. На многом налет театральности: обеденный стол, поднимаемый лебедкой вместе с едой и сервировкой с нижнего этажа, полуигрушечный тронный зал и почти всамделишная парадная кровать в духе Людовика XIV. В соседних со спальней комнатах — портреты Людовика XV, его жены, любовниц: маркизы де Помпадур, ловко перехватывавшей бразды государственного правления, графини Дюбарри, мастерицы придворных интриг... Кажется, на этих стенах они занимают места, которые должны бы принадлежать родителям, деду, прадеду альпийского отшельника. Но он — наследник другой эпохи, красивой и ущербной, печально знаменующей деградацию европейской монархии.

«Король-солнце» — его недосыгаемый идеал. И само небесное светило над Альпами словно отворачивается от него. День и ночь в его жизненном ритме меняются местами. Спутником последних лет становится луна. Она освещает ночные бдения, когда просыпается его натура — деятельная и творческая. Он наследник, но все же не двойник Людовика XV, праздность француза — не его стихия. Людвиг II Баварский знает, что противопоставить своему *испорченному* XIX веку. Из подлунных грез вырастают призраки прошлого, возвращающие ощущение утраченной гармонии и красоты — «лебединый» замок, населенный героями германского эпоса (Нойшванштайн), версальское величие (парадные комнаты и парк Херренкимзее). Он проводит ночи в любимой гостиной в «Марли», где замкнутое зеркальное пространство раздвигается в бесконечных отражениях. Он до

утра бродит по своему Зазеркалью, беседует с герцогом Сен-Симоном, и тот рассказывает о придворном этикете Людовика XIV, плывет по тихой глади озера с молчаливым рыцарем Чаши Грааля Лоэнгрином, и их ладью тянет за собой бело-снежный лебедь...

В этих мирах реальность с ее стенаниями — «Ваше Величество, вернитесь из одиночества благородного мира гор к своему народу!»* — видится потусторонней. У него не складывается диалог с настоящим, и он не грезит о будущем, но именно в будущем обретает свое место и признание заблудившийся во времени король. Может быть, потому, что будущее, оно же настоящее по отношению к прошлому, всегда испытывает дефицит романтиков и мечтателей.

Когда человек «из будущего», Томас Манн оказался в залах линдерхофского дворца-музея, ему стали более понятными свои собственные романтикам мировоззрение и мироощущение: «Ночь — родина и область романтики, ею открытая; всегда романтики противопоставляли ее как истинное благо мишурному блеску дня — царство чувствительности противопоставляли разуму». В почитании ночи, напоминает Манн, проявлялся «материнско-мифический культ луны, который с самой ранней поры человечества противостоит почитанию солнца — религии мужского, отцовского начала».

Король-луна оставил будущему пример одного из, может быть, кульминационных проявлений романтизма, когда разочарование в реальном мире и тоска по утраченной гармонии выливаются в тихий бунт одиночества.

* Газета «Münchner Neuesten Nachrichten», май 1885.

БАВАРСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД

От короля-луны к королю-сказке

Летом 1886 года Бавария пережила шок, отголоски которого разнеслись по всему свету.

В ночь с 11 на 12 июня в замке Нойшванштайн королю было зачитано заочное медицинское освидетельствование, признающее его психически нездоровым. Ранним утром 12-го карета с монархом отправилась к Штарнбергскому озеру в усадьбу Берг, которая была определена как место его дальнейшего пребывания и лечения. Поздним вечером следующего дня тела Людвига II и находившегося при нем доктора фон Гуддена обнаружены на дне озера.

Бросился в воду — от позора? Убит — вместе с доктором? Жертва несчастного случая? Об этом спорят и говорят вот уже почти сто сорок лет. Судьба распорядилась жестоко, но по-своему и закономерно: потаенная жизнь короля последних лет интриговала окружающих, интригующим финалом она и обрывается в неполные сорок один год. Судьба словно пошла навстречу его собственному пожеланию: «Вечной загадкой хочу я оставаться — для себя и других».

Не в поисках ли отгадки (если не умышленно, то подсознательно) бросились в открывшиеся для публики замки и дворцы покойного Людвига и те, кто был к нему равнодушен, и те, кто явно или скрытно его недолголюбивал, как и те, кого глубоко потрясла его принудительная отставка и драматическая кончина?

Любопытство порождало сочувствие и наоборот. Наэлектризованный трауром воздух взрывался эмоциями — критикой и оскорблением министров и членов королевского дома в газетах или восторженным восхвалением покойного, как это сделал один австрийский трактирщик, развернувший на фасаде своей пивной у баварской границы большой транспарант: «Любовь к королю Баварии не знает границ!»

1 августа 1886 года жилища Людвига открылись для массовых посещений — через полтора месяца после его смерти. Осматривать можно было замки Хоэншвангау и Нойшванштайн, усадьбы Линдерхоф и Берг, островной «Версаль» (Херренкимзее), а также комнаты и зимний сад покойного в мюнхенской резиденции*. Но и до этого, в течение всего июля, они уже были частично доступны. Особенно притягательны стали Берг и Нойшванштайн — места драматической развязки. Однако, доступ в усадьбу Берг, где прошел последний день жизни короля, пришлось приостановить, когда обнаружилось, что из дома пропадают некоторые мелочи, очевидно взятые на память; среди них — кисти, срезанные тайком с комнатных портьер. В Нойшванштайне возможность массового посещения оказалась временно ограничена отсутствием защищающих полы ковровых дорожек. Попасть в замок можно было только по специальным пригласительным билетам. Замечены были случаи, когда не имевшие таковых пытались подкупить обслуживающий персонал.

Среди самых первых посетителей в Нойшванштайне — двоюродный брат короля принц Леопольд с женой и дочерьми, а также группа депутатов земельного парламента. Они осмотрели

* Апартаменты Людвига в резиденции не сохранились до наших дней. Нойшванштайн, Линдерхоф и Дворец Херренкимзее работают как государственные музеи. Усадьба Берг и замок Хоэншвангау остаются во владении семьи Виттельсбахов, замок открыт как частный музей.

замок в конце июня, всего две недели спустя после смерти короля. Сразу за ними, 1 июля, последовал принц Александр Гессен-Дармштадтский, которого можно назвать «первым русским туристом». Принц был немцем, принадлежал гессенской династии, но доводился родным братом жене Александра II, а кроме того — много лет провел в России, служил в императорской армии при Николае I, Александре II, командовал полками... Европейская знать — графы, графини, баронессы, принцы, кронпринцы, королева Испании, герцог Генуи — составили список высокогородных гостей замка в первые посмертные месяцы. Дважды побывала и вдовствующая королева Мария, мать Людвига. Замок был ей уже немного знаком — за год до этого, когда она отмечала в Хоэншвангау свое 60-летие, сын проявил неожиданную любезность и пригласил ее в Новый Бург, как называл он Нойшванштайн. Судя по всему, она была единственным гостем, переступившим порог замка при жизни Людвига.

Сколько миллионов людей прошло с тех пор по винтовым лестницам и анфиладам? В наши дни замок открыт 362 дня в году, и каждые пять минут рабочего времени он принимает очередную группу. По этому поводу один из нынешних представителей баварской династии, пожилой герцог Макс заметил в недавнем интервью: Людвиг должно быть переворачивается в гробу. Но кто, как не сам Людвиг — первый творец собственного мифа, пробудил в душе своего народа энтузиазм мифотворчества? Его стали величать кумиром, баварским идолом, но едва ли эти эпитеты, подразумевая под собой решимость и совершенство, правоту и образец для поклонения, оправданы или точны... И тогда изворотливая судьба приготовила Людвигу еще один посмертный сюрприз, наградив его титулом «Märchenkönig»: *сказочный король*.

Эффект оказался идеальным — сказки рождаются в народе, и Людвиг теперь признан не только его любимцем, но и его пло-

тью от плоти, а значит, ему простительны былые слабости и чуждачества.

Теперь можно запросто, на баварский манер, называть его *Кини*, и это слово (на баварском диалекте — *король*) фамильярно заменило имя собственное, созвучное традиционной норме немецкого языка, при которой имена приобретают приятельскую или домашнюю форму (Зигфрид — Зиги, Моника — Мони и т. п.). Кини можно назначать патроном пивного стола — вешать на стенку портрет его величества и не забывать поднимать в его честь первую кружку. Кто сказал, что революция 1918 года отменила баварскую монархию? Кини — народный король, покровитель местных обычаев и традиций. В его свите — многочисленная рать, объединенная в несметное число клубов и обществ его имени. У него есть даже тайная стража: она непременно появляется в день его смерти на Штарнбергском озере — в черных сутанах с закрывающими лицо колпаками, горящими факелами в руках и щитами с надписью: «Это было убийство». Братья тайного ордена (они называют себя «гугльмэны», от слова *Gugl* — колпак) видят свою главную цель в защите чести и достоинства Людвига II, в поиске подлинных обстоятельств его смерти. Устав ордена предполагает сугубую конфиденциальность: «ни число членов, ни уставы, ни имена, ни места собраний не публикуются».

Кини — персонаж детективных и мелодраматических романов, герой фильмов и мюзиклов, эмблема общепита и ширпотреба. В его честь варят пиво, сыр, пекут хлеб, его именем называют спиртные напитки, чай, кофе, горчицу, куртки, свитера... Ему посвящают массовые пешеходные марши: ко дню смерти — ночной, 50-километровый, вокруг Штарнбергского озера, ко дню рождения — двухдневный, 100-километровый, от замка Кальтенберг до замка Нойшванштайн. В зимнее время толпы лыжников устремляются в долину Гразванг, чтобы принять участие в

традиционном забеге «Король Людвиг». Вспоминают ли они, что именно там, в своем тридевятиом царстве под названием Линдехоф, прятался почитаемый ими Кини от людей и дневного света?..

Народная любовь щедра, не знает границ и иногда невольно беспощадна. Но и Людвиг не всегда оказывается терпим к ее проявлениям, особенно, если это касается пристального внимания к его персоне. Кому то до сих пор, наверное, памятна королевская прокламация, обнародованная в феврале 1972 года в газете «Абендцайтунг» в связи с появлением в Баварии режиссера Лукино Висконти.

Моему народу

Я Людвиг II, король Баварии, нахожу необходимым обратиться с призывом к моему любимому баварскому народу и всей германской нации.

Итальянский граф Лукино Висконти намеревается вопреки моей воле незаконно использовать мои дворцы; мои биографы обманули мой любимый народ ложными данными о состоянии моего здоровья и подготавливают акт национального предательства.

Каждый нормальный баварец призывается противостоять графу Висконти... Я чувствую единство со своим любимым народом и твердо убежден, что мой народ защитит меня от задуманных *разоблачений*.

Людвиг,
король Баварии*

Его дворцы и замки, разбросанные в Альпах и в их предгорьях, строились как подобию, реконструкции: «Версаль» Людовика XIV или перенесенный из рыцарских времен в XIX век за-

* Abendzeitung. 10.02.1972. Поводом для воззвания от имени короля стали съемки фильма «Людвиг».

мок Нойшванштайн, также и Линдерхоф-Марли, где даже сам дворец представляет собой искусную бутафорию: его фасадная отделка лишь имитирует каменное строение, в действительности здание выстроено из дерева. Муляжный характер носит в Линдерхофе и большой парковый грот — с озером, лодочкой, водопадом, сталактитами, электрической подсветкой: великолепно оформленное из металла, мешковины и цемента театральное пространство, относящееся к первому акту оперы Вагнера «Тангейзер».

Оставшийся от Людвиг «баварский Диснейленд» смотрелся бы банальным аттракционом, если над ним не витал бы дух монарха — короля-луны, короля-сказки. И сама жизнь Баварии, наверное, выглядела бы сегодня гораздо будничней, не будь у нее своего Кини...

А Людвиг все это время, может быть, незримо сидит на берегу любимого Альпзее, откуда ему хорошо видны замки Хоэншвангау и Нойшванштайн. Ему исполнилось двадцать лет, и на этом счастливом моменте он остановил в своем неземном бытии часовую стрелку. Он ждет, когда начнут сгущаться сумерки и музыканты за его спиной возьмут в руки инструменты... Одновременно с мелодией на озере возникает ладья-лебедь — изящная конструкция мастера его придворной сцены. Лебедь медленно скользит к берегу, неся Лознгрину к Эльзе. Молодому королю хорошо знаком голос поющего рыцаря, его глаза, его лицо... Пауль Турн-унд-Таксис — близкий ему гораздо больше, чем это пристало адъютанту короля...

Театр Вагнера и родные Альпы — его остановленное мгновение...

«ОСТОРОЖНО, ЛИСТОПАД!»

ОПЫТЫ В ПРОЗЕ

*Из (не)пережитого**

* Выдуманные истории, прожитые автором вместе с героем, невольно становятся частью его собственной биографии.

ТАМ, НАД ДУНАЕМ...

Эти записки на немецком языке в синей тетрадке с линованными полями попали ко мне совершенно случайно. Тетрадь лежала на дне небольшой коробки с книгами, которую вместе со всем ее содержимым я приобрел за пару евро во время одной из прогулок по блошиному рынку. Мне приглянулся изящный томик «Страданий юного Вертера», старый путеводитель по городам Дуная, еще несколько любопытных изданий. Уже дома обнаружилась в коробке тетрадка с синей обложкой, и я был готов ее выбросить, но после беглого просмотра передумал. Сейчас трудно сказать, что меня тогда остановило; как бы то ни было, я отложил в сторону приобретенные книги и подтянул поближе словарь. Мучительно было разбирать нетвердый почерк, но и оторваться от начатого стало вскоре невозможным: с пожелтевших страниц для меня все явственнее звучал голос пожилого человека, избравшего ученическую тетрадь хранителем предсмертной исповеди.

Рукопись не имела заголовка, в остальном же, за исключением личных имен, я старался не позволять себе никаких отклонений от оригинала.

Вчера снова приходил господин Шрайтер. И снова ни-че-го! Они уже три недели топчутся на месте, перемальвают одни и те же подробности, а бедная Ди все это время лежит на Западном кладбище... Они не могут найти убийцу. А я до сих пор не могу

убрать со стула в спальне одежду, что осталась висеть со дня ее смерти — ее любимую темно-малиновую юбку и вязаный жакет, подарок ее сестры Марты ко дню рождения. Ди сразу его надела и так и осталась сидеть за праздничным столом в только что подаренном жакете. И Марта, и этот ее друг, что недавно вышел на пенсию и сподобился, наконец, предложить Марте поселиться вместе, и это после пятнадцати лет, в течение которых она каждый день ждала этого предложения, а он, ссылаясь на работу и обстоятельства всех видов — от бытовых до космических, — откладывал этот вопрос на следующие полгода, продолжая регулярно приезжать к ней к субботнему ужину и столь же пунктуально покидать ее после воскресного обеда, так вот, и он, этот плешивый жучок, который все эти пятнадцать лет терся вокруг сестры Ди, сказал, что жакет ей очень идет. Он ей и правда подходил идеально, но жучок-то этого не понимал; что может понимать в таких делах человечешко, никогда не любивший, это самодовольное ничтожество, субботний утешитель безнадежно одиноких дев. Ди его тоже не любила, но жалела Марту и даже хвалила ей жучка — смотри, какой заботливый, звонит же иногда и на неделе, спрашивает, как дела...

Она была прекрасна в том жакете. Но никто не должен был касаться этого, никто не должен был пачкать своими бездушными интонациями и банальной болтовней того, что во всей глупине мог оценить только я.

Ди исполнилось пятьдесят восемь, и мы желали ей еще многих и здоровых лет. Кто мог предполагать, что ей было отмерено всего лишь три дня...

Шрайтер говорил, что обязательно найдет убийцу, но что это не так просто, потому как следствию представляется, что ее убил человек случайный, без всяких мотивов, возможно, пьяный, одурманенный или психически нездоровый. Он мог проходить мимо скамейки, на которой она сидела одна, что-то проис-

ходило с ним, он выхватил нож и нанес три удара случайной жертве. Последний подарил ей легкую смерть. Сейчас они рожутся в больничных картотеках, ищут людей, склонных к немотивированным убийствам. Изучают списки недавно выпущенных из тюрем. Пытаются найти иголку в стоге сена — ну, ну... Эксперты считают, что третий удар выдает человека с опытом, но Шрайтер в том не уверен, полагает это чистой случайностью. У профессионала должен быть мотив или заказ...

Я слушал Шрайтера с полуприкрытыми глазами. Меня раздражает его добермановская челюсть и серьга в ухе. Не может у полицейского быть никакой серьги! Иначе он ни черта не найдет. На прощание пожал мне руку: «Крепитесь, хэрр М. Знаю, как вам тяжело... Вы прожили с покойной супругой счастливую жизнь... крепитесь... мы еще увидимся...» И ушел. Я остался сидеть с закрытыми глазами. «Счастливую жизнь»? Откуда у господина полицейского сыщика такие сведения и что он этим хотел сказать?

Ди было двадцать четыре, когда мы познакомились. Конечно, я помню не только год, но и день, месяц и час нашей встречи. Июль, двенадцатое, год одна тысяча девятьсот шестьдесят первый. Около полудня. Старинный Ульм, берег Дуная. Безжалостное солнце. На ней легкое сиреневое платье и большая белая шляпа, которая так ей идет. Она с подругой. Маленькими глотками они отпивают из кружек светлое пиво, непрерывно курят американские сигареты...

Я попросил разрешения сесть за их столик. Бегло взглянув на меня, она согласно кивнула и продолжила что-то увлеченно и негромко рассказывать своей собеседнице. Я заказал пиво и жареную свинину и, не зная почему, старался не смотреть в их сторону. Небольшая терраса ресторана располагалась на обрывистом берегу реки и была ограждена балюстрадой — потрескав-

шимися бетонными столбиками и давно некрашеными, увитыми плющом металлическими решетками. Невысокий противоположный берег смотрелся оттуда как причудливый черепичный ковер, повторяющий очертания домов и целых кварталов. Мне подумалось, что после обеда надо бы сходить туда — в старую часть города, поближе посмотреть их знаменитый собор с самой высокой в мире колокольной и старинную ратушу, но, скорее всего, будет еще жарко и придется возвращаться в гостиницу, а осмотр достопримечательностей отложить на вечер. Мучила жажда, пекло солнце, и к этому добавлялось внутреннее беспокойство, причину которого я не мог найти, пока снова не встретил ее мимолетный взгляд.

Ничего особенного, никакой неопишуемой красотой она не обладала — миловидное овальное лицо с большими зеленоватыми глазами, светлые прямые волосы, мягко спадающие из-под шляпы на плечи. Я был уже далеко не в том сентиментальном возрасте, в котором верят в любовь с первого взгляда, — мне ведь было почти тридцать. Но в ее глазах мелькнуло что-то родное и давно забытое. Передо мной оказался незнакомый и одновременно близкий человек... Это не так просто объяснить... какая-то ассоциация с сильным, но забытым детским или юношеским впечатлением — уличным, домашним или книжным, а может быть, как считает Марта, которой я годы спустя все это не раз рассказывал, сигнал из прошлой жизни — его, однако, нельзя интерпретировать только как знак счастливого обретения, он может быть и предостережением, напоминанием былой ошибки; кажется, она просто начиталась не очень умных книжек. Марта вообще женщина простоватая, но одаренная необыкновенной чуткостью и доброжелательностью. И сестру свою всегда любила... Когда Ди ушла от меня, я изредка приезжал к Марте; разумеется, не по выходным дням, когда туда заявлялся жучок.

С Дуная послышалась музыка, и мы увидели, что внизу мимо нас на большом плоту, украшенном цветами и гирляндами из веток, проплывает духовой оркестр, за ним потянулся целый караван — вереница плотов, где на скамейках за длинными струганными столами сидела празднично одетая публика, там стояли бочонки пива и пышущие жаровни, люди пели и некоторые даже танцевали. И Ди, как и многие вокруг, стала махать им рукой, громко и шутливо комментировать происходящее, и то ли от неловкого движения, то ли от неожиданного порыва ветра ее большая шляпа с широкими полями вдруг оказалась за балюстрадой и, плавно кружась, начала спускаться к воде. Некоторые приподнялись со своих мест, наблюдая за ее полетом, и сочувственно улыбались. И она, на которую устремлено было в этот момент столько глаз, отвечала на улыбки, реплики, сначала без слов — кивала головой, разводила руками, смеялась, а потом вдруг протянула мне через стол руку и назвала себя. Мне — от волнения или от внешнего шума — послышалось, что она сказала «Ди Кляйн». — «У вас редкое имя», — заметил я. Она удивленно вскинула брови: «Шутите? Мне кажется, здесь каждую третью девушку зовут Хайди». — «Ах, Хайди! — воскликнул я. — А мне ведь послышалось Ди». — «Ди? — рассмеялась она. — Это звучит немного на азиатский манер, но если желаете...» И снова привстала, сомкнула веки до узких щелок и еще раз протянула руку: «Ди Кляйн». — «Клаус».

Мы поженились на следующий год. К тому времени она окончила университет и вернулась в Мюнхен, где жили ее мать и сестра, и уже после свадьбы переехала в мою квартиру в Зольне, в нашу тихую южную окраину. Но во все то время, пока оставалась в Ульме, я приезжал к ней при первой возможности, и почти каждый раз мы ходили в тот самый ресторан и старались сесть за тот же столик и, когда зимой терраса пустовала,

все равно заходили на нее и вспоминали белую шляпу и подолгу целовались — теперь это было «наше место».

В скольких снах грезилось мне оно потом? Сколько раз вспоминалось, как полетела в сторону Дуная белая шляпа и как кто-то с плота пытался ее поймать, и как потом мы спустились вниз и шли вдоль берега, предполагая, что ее могло куда-нибудь прибить волной от проходивших прогулочных катеров, и как разговаривали, перескакивали с предмета на предмет, и я говорил, что Хайди очень красивое имя, но раз так случилось, что в этом городе каждая третья девушка носит его, то, наверное, лучше, если я буду называть ее Ди, тем более, что она не похожа ни на одну известную мне девушку не только в этом городе, но и во всем мире, и как мы потом оказались на уютных улочках старого города, и там ее чуткая подруга вдруг вспомнила о неотложных делах, и мы тут же без всякого удивления и сожаления попрощались с ней...

И все те годы, что мы прожили позже врозь, я помнил все это. И когда она вернулась помнил... «Ты излишне сентиментален», — сказала как-то без улыбки, даже с легким раздражением. И я понял, что «наше» перестало быть «нашим» и стало только «моим». С тех пор *сентиментальные* путешествия в Ульм я совершал всегда один: в собственных воспоминаниях либо с помощью старинного путеводителя, удачно попавшегося мне в руки в одной из книжных лавок.

На берегу Дуная старые дома с крутыми черепичными крышами и фронтонами и над всем этим высоко поднимающаяся башня кафедрального собора... — все вместе складывается в картину одного из старых швабских городков и называется Ульм. Как и во время Бёблинга, стоит он еще здесь, старый город рейха над Дунаем. Все в нем словно законсервировалось: природа и городской облик, поколения жителей и их дома. И люди имеют такие же самые лица, ка-

кими рисовали их Мультчер и Цайтблом, Сырлин и мастер Хартманн...

Александр Хальмаер, 1922

Я рассматривал альбомы старых мастеров, искал в лицах... Нет... там встречалось только отдаленное подобие... но * ...

Но прежде всего подлинным ульмским переживанием остается собор... Город для него всего лишь окружающая среда. Он стоит в его центре как король-солнце посреди своей свиты — так, будто хочет сказать: «город это я»... Соборная башня видит все. Она обозревает весь швабский мир. Она заглядывает также и в сердце города, в его узкие дворы и углы...

Александр Хальмаер, 1922

Это произошло через полтора года после нашей свадьбы. Ее не оказалось вечером дома, она не пришла к ужину, не позвонила. Это было непривычно. Я убрал все со стола, так ни к чему и не притронувшись. Она вернулась в одиннадцать, когда я уже собирался звонить ее матери или сестре. Все это время худшие предположения в голове сменялись еще более худшими — обморок в трамвае, ее увезли в больницу. Или несчастный случай на улице? Я отметал ужасное и пытался успокоиться — наверное, она просто встретилась с Мартой, они забрели в кино и не могут оттуда позвонить... Или не с Мартой... Или не в кино...

Появилась она как ни в чем не бывало, поинтересовалась, что нового в мире (у меня была включена программа новостей, которую, разумеется, я не слушал) и, не дождавшись ответа, ушла в ванную. И это показалось самым худшим...

Вышла оттуда улыбаясь и напевая, я чуть не ударил ее. «Где ты...» — «Ну, ну, не устраивай сцен, я просто гуляла, разве не

* Часть текста зачеркнута и не поддается прочтению. *Вл. Ш.*

могу я просто погулять по городу в хороший зимний вечер, а? Ты чего такой серый?» — «Ты не позвонила, я весь вечер не знал...» — «Я пыталась, но один автомат не работал, второй проглотил монетку...» И она пошла в спальню, как будто ничего не случилось... Я догнал ее одним прыжком, развернул за плечо и ударил по щеке. Она отшатнулась, вырвалась и, не снимая халата, легла в кровать, лицом вниз...

Прошли мучительные сутки — без сна, без совместного утреннего кофе (я уходил из дому на час раньше ее, но обычно она всегда вставала к завтраку, провожала меня до двери, потом шла принимать душ), под удивленными взглядами коллег, едва ли поверивших, что мои воспаленные глаза, посеревшее лицо и сиплый голос — следствие легкой простуды. И словно в насмешку — расстройство желудка, эта оскорбительная слабость, будто пытающаяся перевести драму в русло трагикомического действия. Я понимал, что теряю ее.

Она ушла... теперь уже навсегда. Вчера я был у нее, убрал с могилы упавшие ветки, долго говорил с ней... вспоминал и тот вечер...

Она не вышла в прихожую, когда я вернулся после работы, а просто негромко выкрикнула из кухни: «привет». Выкрикнула без эмоций, будто поставила галочку в каком-то списке: и я тут. «Как дела?» — я не узнавал своего голоса. И не дождавшись ответа, теми же деревянными звуками выдавил: «Прости меня, Ди...» Она показалась в дверях: «И ты меня прости, Клаус... Вчера, когда я ехала в трамвае, в вагон, во все двери разом вдруг *свалил* (другого слова не подберу) целый оркестр, представляешь? Вошел неожиданно, с музыкой, все были одеты в карнавальные костюмы... Представляешь? Сначала испытываешь раздражение — шум, мешают читать... но шум постепенно приоб-

ретаает черты согласованной мелодии, напряженного, захватывающего ритма... человек двадцать бьют в барабаны — в крохотные, средние, огромные, плоские, вытянутые, пузатые... И из всего этого вырастает не отпускающий уже тебя сплав ритмичной мелодии, повторяющейся и нарастающей как у Равеля, готовой вот-вот сорваться и... берущей новую высоту. Я проехала свою остановку и уже на улице поняла, что не я одна иду за оркестром... нас становилось все больше, и мы послушно шли как те дети из сказки...» — «Но почему не позвонила? Я бы приехал... пошел с тобой...» — «Наверное, могла и позвонить... дважды неудачно пыталась это сделать, но не с тем, чтобы позвать, а просто предупредить... а потом решила больше не звонить... ты бы меня начал расспрашивать — что да как, что за такой оркестр, да зачем я голодная по улицам хожу... все это очень мило, только, пойми, в той ситуации это стало бы разрушительным... Ты должен справляться с собой, это ведь без сомнения слабость — твоя боязнь, что в неизвестной тебе складочке моей души или в упущенном из твоего внимания отрезке моего дня таится какая-то угроза... Скорее всего, это ревность, хотя ты и смеешься всегда над ревнивыми мужьями и не считаешь себя таковым...» — «Я?..» — «Помолчи еще минуту, — она взяла меня за руку, — и послушай, ведь моя история еще не закончилась... Я вчера целовалась с французом! Спокойно, — она засмеялась, — он тоже шел за оркестром, и когда тот перестал играть, обратился ко мне на ломаном немецком — спросил, как ему добраться до отеля, он совсем не понимал, где находится и в какую сторону нужно идти. Я согласилась его проводить, тем более — нам было по пути. Он из Марселя, инженер, приехал по делам службы. Недавно развелся, очень любит свою дочь, показал мне фотографию, она совсем еще малютка — годика два... Мы продрогли, и он предложил зайти в кафе. И мы оба еще находились под впечатлением той музыки, тех ритмов, и так не хоте-

лось выходить из этого состояния... Ну а потом, когда прощались...» — «Где? В его номере в гостинице?» — «Зря я начала этот разговор... На остановке, конечно, когда вышли из кафе, — она нахмурилась и отпустила мою руку. — Он спросил меня, встретимся ли мы еще. И я ответила: нет. Потому что видела, что понравилась ему, очень понравилась. И тогда он сказал, улыбнись мне на прощание, я улыбнулась, а он наклонился, легко поцеловал меня в губы и ушел, ушел не оглядываясь...»

Нет, я все понимал и не судил ее, мы больше не возвращались к этой истории. Но только время от времени я представлял ее — зачарованно идущую в толпе за тем ряженым оркестром... без меня... Нет, я не позволял себе расслабляться, гнал прочь подобные видения и мысленно твердил себе, что не ищу никакой угрозы ни в ее мыслях, ни в поступках — как известных мне, так и неизвестных.

Зачем господин Шрайтер вдел в ухо серьгу? Я, конечно, читал в газетах и по телевизору видел, что нынче пошла такая папуасская мода, того и гляди — в нос начнут кольца вставлять... И как это сочетается с униформой? Или следователи освобождены от ее ношения? Шрайтер, во всяком случае, приходит в обычной одежде. Ему, наверное, немногим больше тридцати... Интересно, это его первое самостоятельное расследование? Три недели топчется на месте — нет мотивов, нет убийцы, нет орудия преступления, никто никого не видел. Черт его подери! Внешне смотрится никак, но то ли что-то из себя разыгрывает, то ли я перестал понимать молодых... А все же спросил меня: «Вы никогда не выходили подышать перед сном свежим воздухом вместе с супругой?» — «Почему же, выходил — иногда». — «Что же не пошли с ней в тот раз? Были заняты?» Он, конечно, ждал, что скажу, будто смотрел по телевизору их идиотский футбол или разгадывал кроссворд в пошлом «Бильде», экземпляр которого

всегда торчит у него из кармана. «Слушал „Реквием“ Моцарта...» — «Ре...» — осекся, уставился на меня и через минуту выдал: «Хорошее было исполнение — по радио или телевизионное?» — «Хорошее, но оно было тут», — я ткнул пальцем в сторону старого проигрывателя с пластинками.

Вчера перечитывал «Глазами клоуна», не мог заснуть почти до рассвета... Бёль был кумиром нашего поколения, большим лириком... Ди это понимала... Ей доступны были многие тонкие вещи. Она никогда не взяла бы в руки того глянцевого чтива, что штабелями таскает из зольновской библиотеки эта подслеповатая курица — аптекарша Плех с верхнего этажа. В последние годы я часто читал Ди вслух перед сном. Перечитали забытого многими поколениями «Вертера», Клейста... всего уж не вспомню. Или слушали музыку... Кажется, последнее, что я читал ей дня за два до смерти, были сонеты Шекспира.

Любовь — мой грех, и гнев твой справедлив.
Ты не прощаешь моего порока.
Но, наши преступления сравни,
Моей любви не бросишь ты упрека.

Или поймешь, что не твои уста
Изобличать меня имеют право.
Осквернена давно их красота
Изменой, ложью, клятвою лукавой.

Грешнее ли моя любовь твоей?
Пусть я люблю тебя, а ты — другого,
Но ты меня в несчастье пожалей,
Чтоб свет тебя не осудил сурово.

А если жалость спит в твоей груди,
То и сама ты жалости не жди!*

* Здесь в переводе С. Маршака. *Вл. Ш.*

Ее нашла мертвой наша соседка, аптекарша Плех. Она всегда заставала Ди на той скамейке, когда возвращалась после вечернего дежурства. Они немного болтали и потом вместе шли домой. Я посматривал в окно и, завидя их на дорожке к дому, ставил на плиту чайник. Если задерживались, я сердился на болтливую аптекаршу. В тот раз их не было долго, а потом раздались полицейские сирены...

Снова был Шрайтер. Просит еще раз подумать, вспомнить, не получала ли Ди каких-нибудь угроз — письменных, телефонных. Она могла о них прямо не говорить, но может, я заметил что-то необычное. Между слов обронил, что соседи действительно слышали у меня в тот вечер музыку, хотя и не уверены, что это был Моцарт. «Неужели и я под подозрением?» — «Ну что вы, что вы, дорогой хэrr М., это, разумеется, формальность... Любое, видите ли, расследование требует построения полного макета, так сказать, театра преступного действия — с обозначением всех фигур, их местоположений, с воссозданием окружающего ландшафта. Звезды на небе, положим, меня в данном случае не интересуют, но вот луна как источник света уже представляет определенный интерес... А также расписание автобусов, например. Мог ведь убийца уехать на автобусе?» — «Конечно», — согласился я. — «О... навряд ли... Потому как после смерти вашей жены следующий автобус ушел только через сорок минут. И никакого иного общественного транспорта в вашем удаленном от центра уголке нет. Мы сразу опросили водителя, и он уверяет, что проехал мимо, потому что на остановке никого не было. Конечно, преступник мог уехать на машине или на велосипеде или уйти, в конце концов, пешком. Но и машину придется тоже исключить. Фрау Плех, ваша соседка, закрыла аптеку как всегда ровно в девять. Именно в этот момент, как установлено экспертами, наступила смерть. Фрау Плех нашла вашу супру-

гу через двенадцать минут. Все это время она шла по улице, ведущей к скверу, где уже было совершено убийство, и никого не встретила, не заметила и отъезжавших машин. Она почти уверена в этом. Так что, скорее всего, преступник ушел в другую сторону, а именно — по дорожке, ведущей из сквера к вашему дому. Но тогда вы, хэrr М., должны были бы его заметить, ибо вы сами рассказывали, что имеете обыкновение поджидать свою жену с прогулки, поглядывая в окно. Конечно, он мог пробраться через кусты сквера в западном направлении, но тогда попал бы на территорию прилегающей к скверу школы и был бы замечен школьным служащим, подметавшим двор под светом фонарей и яркой луны...» — «Подметавшим двор? Я живу здесь уже несколько десятилетий и, поверьте, более менее знаю всё и вся вокруг, и, насколько помню, школьный двор всегда убирался во второй половине дня, сразу после окончания занятий». — «О... вам не следует горячиться, хэrr М... Вы, разумеется, правы, но в тот день школьный служащий, к большому огорчению, отвез в больницу свою жену с признаками острой сердечной недостаточности; пробыл он там долго — пока бедняжке не полегчало, и вернулся лишь к восьми часам вечера. Полчаса ушло у него на легкий ужин, после чего он вышел во двор... и, тем самым, стал одной из тех персон, фигурки которых занимают свои места на воссоздаваемом нами театре преступного, как я позволил себе выразиться, действия... Билеты все проданы... Занавес поднимается ровно в девять и опускается через двенадцать минут, воспроизведены все реалии происшедшей трагедии — сквер, скамья, асфальтовая дорожка, школьный двор, луна... На местах, обратите внимание, почти все действующие лица — фрау М. сидит на скамейке, школьный служащий подметает территорию, вы, под траурные звуки «Реквиема» (какое фатальное совпадение, хэrr М., не правда ли?) поглядываете в окно, фрау Плех проворачивает ключ в замочной скважине ап-

течной двери... Но где же злодей?.. Впрочем, уверяю вас, преступников-невидимок не бывает... Да и публика останется недозвольной, если так и не узнает, кто совершил преступление. Она же платит деньги или, если желаете, налоги. Пока же мы можем сообщить ей только то, что ваша супруга не была ограблена; при ней и не было ничего ценного. Не была она и напугана появлением преступника, иначе бы тот же школьный служащий мог услышать ее крик. Может быть, к ней подошел хорошо знакомый человек? Человек, который также хорошо знал, что фрау Плех пройдет здесь не раньше, чем через двенадцать минут... Это, разумеется, только предположения... Но я утомил вас, хэрр М. Извините... И поверьте, я очень сочувствую вашему горю и не хотел быть жестоким... Все, что я наговорил сейчас, звучит цинично в ушах близкого погибшей, но, поймите, любая одержимость способна убить в человеке чувство меры... а я... я очень одержим идеей найти преступника...»

Пассау знаменитый и богатый город на соединении Дуная и Инна... Дунай приходит сюда со стороны швабских холмов, Инн стекает с Альп, разделяющих Германию и Италию; здесь впадает он в Дунай и отказывается от своего имени. Город сильно вытянут в длину и был бы почти островом, если бы от Инна в Дунай протянулся канал, ведь одна река от другой удалена на каких-нибудь пять сотен шагов. Через Инн ведет деревянный мост на шестнадцати опорах, соединяющий со старой частью города лежащую по другую сторону реки застройку. Второй мост — через Дунай... там, за ним проходит еще одно русло, с темными водами... Отрезая третью часть города, эта река перед епископским дворцом, примерно напротив Инна, также впадает в Дунай. Так соединяются в одном месте три реки, и потому называется город на итальянский манер Пассау, что означает переправа...

Сильвио Пикколомини, 1444

Пароход отходил ровно в шесть вечера. В Пассау шел проливной дождь, и мы отказались от мысли погулять перед отъездом по одному из самых очаровательных городков Нижней Баварии, поставили машину на долгосрочную стоянку и отправились с чемоданами на борт корабля. Это было довольно большое для речного судоходства двухпалубное с надстройкой судно, ослепительно белое даже под мрачными грозowymi тучами...

Я зарезервировал поездку месяца за три и, когда туристическое бюро прислало путевки, положил ничего не подозревавшей Ди конверт на подушку — маленький сюрприз, десятидневное путешествие по Дунаю на белом корабле, к трехлетию нашего знакомства. Мы обязательно приплыли бы к *тому* месту, если бы наш пароход направлялся от Пассау на запад, но, согласно плану туристического бюро, он предполагал двигаться на восток, по маршруту Пассау — Вена — Братислава — Будапешт... Ди обрадовалась... хотя я бы на ее месте обрадовался, наверное, чуточку сильнее.

Габриеле и Мартин были немного моложе нас. Они бросились мне в глаза на следующее утро, когда я прогуливался по кораблю. Палуба была залита солнцем, и ничто не напоминало о вчерашней непогоде. В белых шортах и футболках, загорелые, оба спортивного сложения, с уверенными неторопливыми движениями, сдержанными улыбками... — на них будто благословенно отложилась гармония окружавшего нас идиллического целого, вобравшего в себя голубизну неба и ясность солнца, плодородие зеленых дунайских берегов и радужность мерно текущей реки... Такими я мог представить себе, пожалуй, древних греков, выходявших на состязания в честь своего могучего Зевса. Вообще-то, я не склонен к фантазиям подобного рода, но, наверное, перемена погоды и радость начавшегося долгожданного путешествия настраивали на столь непривычную волну. Я невольно любовался этой парой и завистливо вспоминал, что ко

мне плохо пристает загар, что из всех видов спорта мне более менее знаком только шахматный, что меня периодически одолевают глубокие простуды... И Ди, завершавшая в последние месяцы свою докторскую работу по биологии, выглядела не лучшим образом — бледная, усталая, сильно похудевшая.

Вечером, когда на подходе к Кремсу мы смотрели под открытым небом скучную французскую комедию, я показал Ди эту пару. Познакомились мы на следующее утро, когда почти все высыпали на борт, увидев за окнами своих кают вместо привычного берегового ландшафта темные и сырые стены шлюза. Мартин обладал какими-то сведениями в этой области и охотно комментировал происходящее своей подруге. Мы оказались рядом, и Ди, проявлявшая в подобных случаях всегда удивительную для меня любознательность, стала расспрашивать его о некоторых деталях шлюзования судна... С тех пор все удовольствия нашего путешествия мы переживали сообща — экскурсии, палубное кино, дискотеку, открытый бар, где легким коктейлем, вечерами, провожали скатывающееся за горизонт солнце, и тот трюмный бар, куда мы перемещались за полночь и где всегда звучала джазовая музыка, там мы продолжали еще долго пить и танцевать... Мы забыли, откуда приехали и куда должны вернуться, путали дни недели, нашим календарем стало распisanное вперед ресторанное меню, в котором в зависимости от национальной принадлежности тянувшихся за бортом зеленых берегов Дуная чередовались блюда немецкой, австрийской, словацкой и венгерской кухонь.

Мартин был немного молчаливым, уравновешенным и весьма доброжелательным увальнем. Габи — сама эксцентрика, переменчивость и озорство.

«Ой, Клаус, ты подпалил на солнце спину, это почти ожог, позволь я натру тебя кремом, у меня как раз с собой очень хороший. Ди, ну посмотри на своего мужа — кажется, он стесня-

ется...» И минут через пять после того, как я послушно лег на живот и она легкими круговыми движениями начала втирать прохладную пасту в мою кожу: «Ладно, сейчас вы оба умрете от ревности, идите лучше в бассейн, освежитесь...» И когда Ди с Мартином послушно ушли и я, вопреки собственной воле ждал, что ее ладони еще плотнее сольются с моим телом и умножат уже нарастающую внутреннюю дрожь, она неожиданно сняла руки с моей спины, нагнулась, и чуть коснувшись губами моего уха, прошептала: «Нельзя так любить женщину, ты погибнешь с Ди...» И тут же села в стороне и как ни в чем не бывало начала просматривать пестрый журнал.

Габриеле не должна была называть мою жену именем, которое существовало для нас двоих; для нее она должна была оставаться Хайди. Однако, услышав мое «Ди», она подхватила его — бесцеремонно, но с дружеской улыбкой, этак непрошено по-свойски располагаясь там, где я предпочитал оставаться с женой только вдвоем.

«Ди! Он у тебя такой внимательный, милый... — это после того, как я принес им в шезлонги мороженое, — давай поцелуем его в обе щечки». И целовала. И смеялась, и все было так непри-
нужденно. И Ди, усмехаясь, следовала ей. Ди была умнее и тоньше, но проигрывала на этом пиру развлечений. Здесь котировались загар и спортивность, наряды и кокетство, а также легкое отношение к жизни, главной проблемой в которой становился выбор между кино, бассейном, баром и дискотеккой. Габи, эта очаровательная маклерша из Кельна, была здесь королевой. Она уловила мое легкое опьянение и продолжала свою игру с незатейливостью примадонны местного масштаба.

Мы сидели вчетвером в небольшом уютном ресторанчике в Будапеште. Я танцевал с Габи уже второе танго подряд, и она, приближаясь ко мне немного ближе, чем следовало, стала подтрунивать — ты, конечно, никогда не изменял Ди и не изме-

нишь, даже если сама Брижит Бардо заберется к тебе в постель... Я отшучивался — старуха Брижит никогда не была в моем вкусе... После танца обе наши дамы удалились в туалетную комнату. Мы о чем-то болтали с Мартином, когда появилась Габи. «А где же Ди?» — поинтересовался я. «Ей стало плохо, — ответила она озабоченно, — зовет тебя». Я опрометью бросился в женский туалет. Ди стояла у зеркала и, напевая, поправляла волосы. Она посмотрела на меня с неподдельным удивлением. «Дверью ошибся», — нашелся я. «Яволь, майн хэrr!» — хрипло заорала подвыпившая полногрудая венгерка с губной помадой в руках и подмигнула мне.

Остаток вечера Габи плутовато улыбалась, но я с ней больше не танцевал и не говорил. «Прости, хотела проверить скорость твоей реакции», — шепнула она мне на обратном пути. Я молча отвернулся.

«Ну как тебе старуха Габи? — прошептала она, на мгновение оторвавшись от моих губ, — слаще, чем старуха Брижит?» Я не отвечал, я предпочитал словам поцелуи. «А ты... не такой уж... робкий... как кажешься... — горячо выдыхала она между поцелуями, — скажи, ты... с самого начала этого хотел?»

Пароход по причине густого тумана, расстелившегося вдоль Дуная, давно стоял на якоре. Было уже за полночь. Ди свалилась от усталости и заснула, Мартин остался в каюте с томиком своей любимой Агаты Кристи, открыть который ему не удавалось все эти дни. И только мы с Габи нашли в себе силы последний раз прогуляться перед сном по нашему белоснежному кораблю. Заканчивался последний день путешествия, утром мы возвращались в Пассау. Мы были одни на палубе — в крошечной тьме и сырости. Пароход время от времени стонал протяжными предупредительными гудками...

«Тебе холодно?» — «Нет, что ты...» — «Клаус...» — шептала она. Я не называл ее по имени, я не помнил в этот момент никакой маклерши из Кёльна. В моих объятиях была та древняя гречанка, какой представилась она мне в первую встречу, восторженное дитя солнца и моря, не отягощенная нравоучениями христианства язычница, для которой вожделиние и чувственность равно освещены богами как восход светила или морской прибор. Мы были далеко. Туман поглотил небо и звезды, легкая волна плескалась о борт. Мы лежали на дне почерневшей от времени деревянной лодки, и наши ноги путались в пахнущих тинной рыболовных сетях. Весла давно были брошены, нас сносило все дальше и дальше в море. И мы все меньше и меньше понимали, кто мы, где и зачем все это так...

«Яволь, майн хэrr!» — хрипло выкрикнула и подмигнула мне веселая полногрудая венгерка, и я проснулся. Ди ходила по каюте и собирала вещи. Моего путешествия в Древнюю Грецию и позднего возвращения она, судя по всему, не заметила. Я был противен сам себе.

Через два часа мы прощались с Габриеле и Мартином на пристани. У меня раскалывалась голова, я топтался вокруг чемоданов, готовый в любую минуту броситься к машине. Но остальные никак не могли расстаться. Обнимались, пожимали друг другу руки. А потом снова начинали повторять уже не раз сегодня сказанное: путешествие было столь коротким, так грустно разъезжаться, ах, как нам будет вас не хватать, но мы непременно спешимся и в следующем году снова отправимся куда-нибудь — вчетвером. Да не куда-нибудь, а в Египет — на этом сразу сошлись Мартин и Ди. И тотчас решили, что кроме осмотра пирамид нужно будет обязательно заказать недельное плавание по Нилу. И Габи горячо их поддержала и, стрельнув глазами в мою сторону, добавила: «Интересно, а там бывают такие же

густые туманы, как на нашем Дунае? Сегодня ужас, что творилось ночью; правда, Клаус?...» Я скорчился от боли: *наш Дунай...*

Что-то произошло при этом. Может быть, я побледнел или покачнулся, тяжело вздохнул или выдал смятение глазами. Не знаю, теперь уж не помню. Но только Ди тревожно спросила: «Ты себя плохо чувствуешь?» И после того, как я промямлил нечто неопределенное про головную боль, обняла и поцеловала меня в щеку. «Я поведу машину, не возражаешь?» — сказала, смутившись всплеска своей нежности, которую никогда, подчеркиваю — никогда прежде, не проявляла на людях.

Почему я не умер там, на пристани?

Сейчас, когда мне остались считанные часы, я могу точно сказать, что та минута была бы самой верной, самой подходящей... Минута стыда и блаженства... Смерть пришла бы как искупление, как разрешение сплетающихся вокруг нас непреодолимых обстоятельств... И на прощание ее поцелуй — роскошный дар нещедрой на нежность природы, сдержанной во всем, что касалось близости и чувственности, способной лишь мягко мне уступать...

Я подхватил чемоданы и, не говоря ни слова и не оглядываясь на Мартина и Габи, направился к машине.

Через два года Ди ушла от меня.

Нет, она ничего не узнала про мою измену. Но для меня эта история оставалась загадкой: можно ли было считать ее случайно вырвавшимся природным инстинктом или отчаянной попыткой самоутверждения в моем неравенстве с Ди?

Я воспринимал ее частью своего существа, и любое наше размежевание в пространстве создавало психологический дискомфорт, а порой вызывало почти физические мучения и упрек, который никогда не произносился мной вслух: «Ты говоришь, что любишь меня, значит должна чувствовать что-то похожее».

...Tag aus, Tag ein
Zusammen zu sein...*

Я торопил ее с окончанием докторской — ведь мы собирались после этого завести ребенка. И отгонял от себя трусливую мысль, что это поможет мне похоронить затаенный страх перед бродячими музыкантами и заезжими французами.

Несколько раз она уезжала на научные конференции. Из последней поездки в Бремен вернулась задумчивой, молчаливой. Два дня ходила по дому сама не своя. Наконец, решилась: «Нам нужно серьезно поговорить...» — «Бременские музыканты?» — перебил я ее. Она благодарно улыбнулась: «Да, только на этот раз все серьезней...» Он оказался ее научным коллегой, талантливым, обаятельным, давно и, конечно, пламенно в нее влюбленным... Я смотрел на нее неотрывно и не слушал.

Я собрал все подсвечники в доме, расставил их в спальне, зажег свечи и лег в постель. Так провели мы когда-то нашу первую ночь, и мне казалось тогда, что кровать, обрамленная светящимся кружевом, плавно скользит по Дунаю...

Теперь я лежал один, и кровать медленно превращалась в наскоро сколоченный из серых досок гроб. Становилось холодно и одиноко. Язычники-греки с каменными лицами произнесли надо мной непонятное заклинание и безучастно и неторопливо поставили гроб на плот. Старший из них, тот, что был с багром, спихнул плот в мутные воды реки, и в ореоле множества мерцающих огоньков я поплыл по Дунаю — по местам мне неизвестным, потом мимо «нашего» ульмского берега, где было совсем пустынно и откуда мне никто не помахал рукой, и дальше — через Пассау и земли канувшей в Лету Дунайской монархии... Никто не обращал на меня внимания, последняя надежда оставалась на Бу-

* Дословно: изо дня в день быть вместе. *Вл. Ш.*

дапешт, где я имел единственного друга — веселую полногрудую венгерку с хриплым голосом, но и она не вышла на берег Дуная, чтобы крикнуть мне на прощание свое «Яволь, майн хээр!» Я никому не был нужен...

Кажется, я сильно опьянел, иначе, откуда бы взяться на Дунае грекам, да еще и язычникам?

Но самым страшным стали вечерние возвращения домой.

Каждый раз* ...

Тот, кто управляет судьбами, может тоже ошибиться — в его руках миллиарды нитей...

...теория ...

1. Эрос — страстная любовь-увлечение, стремление к полному физическому обладанию.
2. Людус — гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства.
3. Сторге — спокойная, надежная любовь-дружба.
4. Прагма — рассудочная, легко поддающаяся сознательному контролю, любовь по расчету.
5. Мания — иррациональная любовь-одержимость, для которой типична неуверенность и зависимость от объекта влечения.
6. Агапе — бескорыстная любовь-самоотдача.

Я — взболтанный коктейль *эроса, мании и агапе*.

Ди — *людус*?

Мы ведь сошлись с ней легко и радостно, и в нашем единстве Ди изначально была *агапе*. Такие вещи не должны растворяться в речном тумане, где можно потерять контроль над своими жи-

* Часть текста густо зачеркнута, тут же вклеен листок с записью, представляющей, судя по всему, выписку о психоэмоциональных стилях из труда по сексологии. *Вл. Ш.*

вотными инстинктами... Такие вещи должны выживать, иначе этот чертов мир не стоит ни-че-го!

Если единый поток разделить на два рукава, то рано или поздно они снова сольются вместе — в речном ли русле или в морском водоеме.

Она открыла своим ключом квартиру, вошла и молча стала развешивать в шкафу свою одежду. Мы не обсуждали случившегося, мы ничего не говорили про прожитые врозь годы, нам не нужны были ни слова прощения, ни новые клятвы верности. Разве это не в порядке вещей, когда разделенные потоки вновь сливаются в единое целое?

Мы стали просто жить дальше.

...Tag aus, Tag ein
Zusammen zu sein...

Но ничто на свете почему-то не бывает вечным. Годы прошли, и она умерла. И совсем неглупая полицейская ищейка с серьгой в ухе, кажется, уже на верном пути. Она уверена, что преступников-невидимок на свете не бывает. Значит и мне пора. Осталось только написать записку, что фрау Плех не несет никакой ответственности за то, что воспользовавшись нашей многолетней близостью, последнее время я часто засиживался у нее в провизорской.

Баварско-швабский дунайский ландшафт — это река и широкая зеленая полоса от Ульма до Нойбурга; раньше там был лес.... Там еще стоят привлекающие внимание могучие дубы. На них гнездятся серые цапли и коршуны. Даже редко встречающихся бобров можно найти на реке.

Александр Хальмаер, 1922

Скоро я увижу Ди. Я знаю, где ее искать... Там, над Дунаем гнездятся серые цапли и коршуны... На ней непременно будет легкое сиреневое платье и белая шляпа с широкими полями...

Прочитав рукопись, я был в полной растерянности. По моим подсчетам прошло уже лет десять со времени смерти автора. Непонятно было, как тетрадка не попала в руки полиции. Неясно было также — поняла ли полиция, что вообще произошло. В рукописи упоминались подлинные фамилии действующих лиц, и я стал искать сестру покойной — Марту, надеясь, что она еще жива. Опускаю подробности моих поисков, скажу только, что разыскал ее в одном из домов престарелых в окрестностях Тегернзее. После предварительного звонка я отправил туда почтой синюю тетрадку и уже было отчаялся получить ответ, как пришло письмо.

«Мне потребовалось немало времени, — извинялась она, — чтобы пережить всю эту историю, прийти в себя и найти силы для ответа Вам. Бедная Ди и несчастный, несчастный Клаус... Глубоко раненый, глубоко преданный...

Вас, конечно, поразит то, что я напишу. Но правда состоит в том, что Ди умерла от сердечного приступа. Это, действительно, произошло вечером на прогулке, на скамейке, недалеко от дома, но совсем не в Мюнхене, а в Бремене, где все эти годы она жила со своим вторым мужем. Никто на нее не нападал и к Клаусу она никогда не возвращалась, да они и не виделись, кажется, ни разу со времени их развода. Разве что обменивались поздравительными открытками к Рождеству и дням рождения. От второго брака у Ди осталась взрослая дочь, которая учится в Гумбольтовском университете в Берлине.

Клаус всегда был мне по-человечески симпатичен, мы изредка перезванивались, навещали друг друга. От меня не ускользну-

ло, что к нему похаживает соседка-аптекарьша, но я уверена, что эта связь никогда не задевала его глубоко. И перечитав присланные Вами записки, еще раз убедилась, что он всю свою жизнь любил только Ди и жил мыслью о ней. И смерть ее, как видите, пережить не смог...

Мне было очень тяжело сообщить ему, что Ди умерла. Он долго молчал, потом поблагодарил за звонок и повесил трубку. Через месяц по тому же телефону я услышала голос рыдающей фрау Плех: Клауса больше нет... отравление... медикаменты из ее аптеки...

Я не в силах дать объяснения этим запискам, написанным после смерти Ди, — будто она вернулась, жила с ним и особенно об этом жестоком убийстве... От всего этого у меня до сих пор стынет в жилах кровь... Может быть, менее близкие и пристрастные поймут в этой истории больше, чем я.

Мои больные ноги и общее состояние едва ли позволят мне в ближайшее время добраться до Мюнхена, и потому хочу воспользоваться случаем и обратиться к Вам с просьбой: не будете ли Вы так любезны положить при случае от моего имени несколько цветков на могилу Клауса. Он лежит на Восточном кладбище, в самом конце четырнадцатой аллеи. Надеюсь, что он уже понят, прощен и успокоен».

2004*

* Рассказ опубликован в журнале «Зарубежные записки» (№ 4, 2005; Дортмунд). Перевод на сербский, выполненный Бранкой Такахаши, напечатан Гбраном Пётровичем в журнале «Повеља» (№ 2, 2006; Кралево).

НЕВСКИЙ СПЛИН

Насте

J. P. Chenet... Виноградники южной Франции... Год сбора урожая — 2002-й... Вкус?.. Хм... Генка сказал бы: так себе... А мне кажется — вполне прилично... И бутылка забавная — снизу пузатая, а горловина, посмотри-ка, вытянута, да еще и с элегантной кривизной: словно гарантия легкого опьянения...

Жаль, ты ничего не понимаешь в красном вине. Я тоже, признаться, мало толку в нем знаю. Вот Генка — он знает. Или умеет делать вид... Я тебе рассказывал, как мы с ним ходили в итальянский ресторан? Это когда он в командировке здесь был. Пригласил меня поужинать — да не в рядовой ресторанчик, какие на каждом шагу в Мюнхене, а в небольшое заведение, о котором он в путеводителе вычитал — «с особенно изысканным выбором вин и блюд итальянской кухни».

Видела бы ты, как он просматривал карту вин. Словно держал в руках забытую записную книжку с именами любимых женщин: улыбался, головой кивал, языком тихонько цокал, один раз застонал и только дважды вопросительно передернул плечами. Наконец, заказал бутылку — евро за пятьдесят-шестьдесят, а то и дороже. Представляешь? Деньги девать некуда или апломб дороже денег... И вот ее принесли. И тут началось.

«Синьор...» — официант показывает бутылку.

Генка неторопливо читает с этикетки вслух, в каком году изготовлено вино, затем делает одобрительный жест.

«Синьор...» — по выражению лица и интонации заметно, что официант рад видеть перед собой тонкого ценителя.

«Запомни этот год, — наставляет меня Генка. — За последнее пятилетие он был самым удачным для виноделия».

«Синьор...» — официант протягивает чуть наполненный бокал.

Геннадий Витальевич (Генкой его в этот момент называть уже не решаюсь) медленно отводит руку в сторону, бокал чуть наклонен, он держит его за длинную ножку, не касаясь пальцами дна, — любитесь цветовой гаммой, потом слегка взбалтывает содержимое и приближает бокал к губам, это обратное движение он совершает чуть быстрее, словно пытаясь всколыхнуть застоявшийся вокруг воздух, чтобы в его освеженном потоке еще до глотка втянуть в себя легкий аромат вина...

«Синьор...» — официант почтительно прижимает правую руку с накрахмаленной салфеткой к груди.

Даже мне становится не по себе, и я заворожено смотрю, как Геннадий Витальевич делает, наконец, глоток, выдерживает маленькую задумчивую паузу — не больше и не меньше необходимого. Легкий выдох... Я машинально сглатываю слюну. Одобрительный кивок... Я спохватываюсь, что сижу ссутулившись, и поспешно расправляю плечи. Бокал медленно опускается на стол...

«Синьоры...» — официант наполняет наши бокалы: чуть меньше половины — и с достоинством удаляется. У них в заведении редко встречаются случайные посетители...

Ритуал... За пятьдесят-шестьдесят евро... На эти деньги ящик *J. P. Chenet* можно купить! Представляешь? Минимум двадцать бутылок!.. Ах, тебе все равно, ты ведь не пьешь... Только снисходительно смотришь, слушаешь, иногда дремлешь под мою болтовню — я ведь вижу... Ах ты милая моя... единственная... Сейчас мы музыку включим — негромко...

Хорошее, кстати, оказалось вино. И цена не кусается. Сделано из двух сортов винограда: *Cabernet* и *Syrah*. Видишь, что тут написано: рекомендуется к жареному мясу или сыру, температура при сервировке 15-16 градусов. Что еще нужно?

Да будь у меня лишние деньги, все равно не стал бы следовать Генкиному правилу: ниже двенадцати евро за бутылку ни в коем случае не опускаться. Ну... у него высокооплачиваемая работа, бизнес какой-то, заграничные командировки... Да и позерства новорусского, с которым теперь многие на Запад приезжают, ему не занимать: требуют всего самого дорогого и расплачиваться любят крупными купюрами... А когда он студентом был, «Совиньоном» советского пошиба за рубль двенадцать копеек с приятелями обходился.

Впрочем, не знаю. Он ведь в Москве учился, я в Ленинграде, мы с ним позже познакомились. Теперь он уже давно живет в Петербурге и разъезжает по всему миру. И ниже двенадцати евро не опускается.

А я на отметочке в две с половиной европейских монеты балансирую, хотя тоже, кстати, в Бурге живу, да не в псевдоевропейском, а в настоящем — в самом предгорье Альп, в старинном Бурге Неизвестного Монаха.

Что ты так на меня посмотрела? Не знаешь разве, что обитали тут на берегу Изара божьи люди, а рядом с ними городишко приютился — *при монахах*, так и получилось на их немецком: Мюнхен. И никакого тебе окна в Европу, потому как Европа — и слева, и справа, и сзади, и наискосок, и по ту сторону тоже Европа. И никакой сверхгосударственной идеи и принуждения... А всего лишь перекресток торговых дорог и товарообменное дружелюбие: одним соль альпийская — «*gerne*», другим хлебá с плодородных полей — «*danke schön*»*, ну и вино, конечно, — это итальянцы первыми подсутились. Рынок, одним словом, а

* Соотв.: охотно, с удовольствием и большое спасибо (нем.). *Издатель.*

вокруг домики, как грибочки, стали расти. Монахи на заезжих виноторговцев посматривают и посмеиваются, у них свое сусло в подвалах бродит, солодовое. Попивают себе пивко — и в окошко городком растущим любуются. Знают — не нужно местному человеку завозного вина, коли пивное дело у них так славно налажено...

А я человек не местный, заезжий, и хоть от пива не отказываюсь, но предпочитаю вино. Пива хорошо выпить не больше стакана, иначе мозги ватными становятся, ленивыми. В больших количествах оно подходит для веселья, для шумной компании. И только «под винцо» можно провести спокойный вечер. Знаешь, как две стареющие подружки — посидят, поплачутся под рюмочку друг другу на судьбу-злодейку и на прощание скажут: «душевно посидели», а то и «душевненько»...

М-да... смешно и грустно... У нас с тобой это все-таки иначе — с таким, я бы позволил себе выразиться, интеллектуально-философским оттенком... неправда? Ладно, не смотри на меня так — знаешь же, что люблю порой состояние духа высоким слогом обозначить. Ну и что, если иногда и напиваюсь... Не каждый же раз... И потом... это не так легко... В этом деле, понимаешь, пограничная полосочка есть — такая узенькая, незаметная: чуть забудешься, увлечешься, и вот ты уже в других координатах, и назад пути не найти. А там тоже интересно, потому что все смещается — белое начинает буреть, грустное вызывать смех, случайное будить скорбь или разжигать глубокую обиду, там даже буквы меняются местами, и латинская *v*, стоящая почти в конце алфавита, уступает место находящейся далеко впереди букве *f*. И тогда вместо *in vino veritas* к концу второй бутылки мы получаем *in vino feritas** ...

* Созвучные латинские пословицы: «Истина в вине» и «В вине дикость». *Издатель.*

Ах, не пьянством и велеречием грешен, а склонностью к раздумьям... Вино помогает собраться с мыслями. И скажу тебе по секрету: качество его не так уж и важно. Совсем дрянь пить, конечно, не буду — потом только изжога замучит, но недорогие вина массового производства, поверь мне, вполне пригодны. Ведь не от вкуса удовольствие получаем, а от *ри-ту-ала*. Для Генки это — ресторанная атмосфера, а для меня...

Люблю сидеть в этом кресле перед журнальным столиком, и чтобы мягкий свет торшера... В полумраке — книжные полки, негромко звучит музыка... Бокал? Предпочитаю круглый из прозрачного стекла, и чтобы ножка длинная... Некоторые, конечно, из стаканов пьют — и ничего им, но это все фармазоны... Как — кто такие? Страшные люди! Пушкин метко про них: «*Он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино...*» И представь себе: «*Он дамам к ручке не подходит...*» А мы не будем обижать дам и останемся верны элегантному фужеру. Добавим к этому тарелку с ломтиками сыра, салфетку... Что еще?.. Ну и, конечно, — рядом ты... Иногда мы отключаем телефон, чтобы никто нас не беспокоил. Я ведь не всегда столь болтлив — правда? И тогда весь вечер у нас звучит только музыка. Все должно быть сбалансировано: настроение, вино, атмосфера... А если одна из составляющих выпадает, то и вечер проходит по-другому — с книгой, прогулкой или, на худой конец, у телевизора.

А они, мои новые соотечественники, пусть себе сидят по кнайпам и биргартенам*, пьют пиво литровыми кружками — одну за другой, и распевают свои любимые куплеты:

В Мюн-хене стоит Хоф-брой-хаус —
Раз, два, вы-пил!

* Kneipe, Biergarten (нем.) — соотв.: пивная и пивной ресторан под открытым небом. *Издатель.*

Там льет-ся из бочо-он-ков —
Раз, два, вы-пил!

А мы тут, под торшером, тихо... под классическую музыку...

Я пью небольшими глотками. Когда подношу бокал к губам, вижу на поверхности вина отражения — вот мелькнул краешек торшерного абажура, скользнул луч от лампы... при желании можно увидеть свое лицо. В вино вообще нужно смотреться как в зеркало — время от времени... Это важно, поверь... В пиве себя можно только утопить. Что может там отразиться поверх пены?

Тут и в Изаре ничего не отражается. И знаешь, почему? Потому что река протекает, как поросшая по берегам кустами канава, — сама по себе, и к городу никакого отношения не имеет. Это там, в Питере, река и город слились в неделимое... И все, что происходит в том городе, отражается в полноводной, разветвленной в своей дельте на множество рукавов реке. Зеркала в гранитном обрамлении... *Невы державное течение...* Ты не поверишь, но ширина реки напротив Зимнего дворца намного превышает километр. Это тебе не Изар... Иностранец, попадавший еще во времена Пушкина на берег Невы и на соразмерные ей петербургские площади, сразу понимал, что за этим городом лежат огромные пространства империи.

Ах, разве мог бы Растрелли построить на берегу Изара такой императорский дворец, как на Неве? А что делал бы в городке неизвестного монаха бедный Росси, которому сама идея простора и соразмерности частей подсказана Невой — ее размахом, игрой света, игрой отражений. Когда мюнхенский Кленце в расцвете своей славы был приглашен в Петербург, ему ничего не оставалось, как на задворках одного из российских ансамблей пристроить здание Нового Эрмитажа. И если бы не украшающие подъезд огромные фигуры атлантов, это здание никто бы и не замечал. Так-то.

Я, конечно, не без улыбки вспоминаю поэта Батюшкова, когда под впечатлением победы над Наполеоном он писал, что «цену Петербурга» можно понять, увидев «ветхий Париж и закопченный Лондон». Но полностью разделяю и принимаю его восторженное восклицание: «Единственный город!..» Строившийся изначально как великое подражание, сотканный из множества привнесенных элементов, Питер, несмотря ни на что, оказался не слепком, а уникальным творением... И обрати внимание: все это только благодаря чухонке Неве. Властная дама... с норовом... Все себе подчинила. Сыграла, как это смешно говорится в ученых книжках, *градообразующую* роль. Петр задумывал столицу на море, а получил город на Неве. И что ты думаешь? За три столетия там так и не могли построить ни одной морской набережной. Кажется, я еще студентом был, когда на Васильевском начали что-то ковырять... Не знаю, как сейчас, но в мои времена там разве что собак выгуливать можно было...

Собаки пусть не обижаются, но этот бокал я поднимаю за Ее Величество Неву...

А Есенин взял и плюнул в ту реку. Остановился на Симеоновском мосту, посмотрел вниз на Фонтанку и плюнул — не стесняясь окружающих. С собой ли остался недоволен, или открылось ему что-то тягостное... Я очень даже верю, что там, в воде, как в живом зеркале можно многое увидеть... Как в вине...

Что? Откуда я это знаю — про Есенина? Вычитал где-то, или Анечка рассказывала. До знакомства с ней город представлялся мне не более как чередой тянущихся в разные концы улиц, известным набором исторических зданий, ну и — сетью трамвайных линий, веток метро... Немного истории, немного литературы, но все это было мало привязано к улицам, домам... Двигаешься, словно по карте маршрутов общественного транспорта. А с Анечкой... как бы тебе сказать... город стал иначе раскры-

ваться, у него появилось другое измерение... Ну вот, послушай, например... У того же Симеоновского моста со стороны цирка ныряешь на набережной под широкую листву — справа дома в воде плывут: портики с надтреснутыми краями, колонны с размытыми очертаниями... И вдруг слева чуть впереди — пушечный выстрел, негромкий; вахта Михайловского замка салюует императору... Он уже давно мертв, задушен, забит в собственных покоех... А пушка салюует... Может быть, его тени... *Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец...* И Достоевский, совсем еще молодой, словно Гамлет в известной сцене, стоит в одном из сумеречных замковых переходов. «Россию любить надобно, — говорит ему Павел. — Матушка ее не любила. Из чванства правила. Петр ее любил». — «Человека любить надо», — осмеливается ответить Достоевский. «На каторгу пойдешь, — тихо продолжает царь. — Страдание тебе познать должно...» И снова салюует вахта, и в смене декораций мелькают пушкинские кудри. Там, напротив, в доме, отражение которого колышется в воде, словно привязанная к набережной лодка, он чувствует себя задетым, уязвленным покровительственным тоном *старших*. «Лицейский пленец», — представляет его очередному гостю хозяин дома Николай Тургенев. И вот уже тучный господин, вытирающий платком испарину, спешит облагодетельствовать: «Наслышан, наслышан... Подаете надежды... в дядюшку-стихотворца, Бог-то даст...» И только Жуковский в углу чуть заметно ухмыляется... «А на каторгу непременно?» — глядя в пустоту, бормочет на другом берегу реки Достоевский...

Старенький автобус кряхтит, переваливается через Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Анечка в длинном зеленоватом плаще, перехваченном пояском на тонкой талии, чуть покачиваясь на острых каблучках, с микрофоном в руке стоит в проходе. Мы с Генкой сидим в третьем ряду. Кажется, он равнодушно смотрит по сторонам и совсем не интересуется Анечкой.

Она — дочь знакомых его родителей, которые и наказали ему побывать на ее экскурсии: «Девочка умная, дочь Эдуарда Николаевича и Маргариты Павловны, из хорошей семьи». Сами они считались важными людьми в Москве, а Анечкины родители принадлежали к тому же партийно-научному клану в Ленинграде. Генке тогда на все это было наплевать. А может, и знал уже, что карьера и жена «из хорошей семьи» ему обеспечены — семейными традициями и домашними же связями, и пока просто гулял, неторопливо собирал материалы для диссертации, внушал родителям, что просиживает вечера в Ленинке, а сам...

Неплохое все-таки вино... Только когда слишком увлекаешься разговором, перестаешь замечать вкус... Нужно делать паузы. Я всего лишь дилетант в этом деле, но пытаюсь, хотя бы до половинки бутылки, не опускать, как говорится, искусства до ремесла. Знаешь, тут все важно: глаза должны видеть цвет напитка, рука ощущать форму бокала, обоняние... С заложенным носом пить вино вообще не рекомендую... *Cabernet-Syrah*... Виноградная лоза с капельками росы... В прошлый раз я пил *Merlot*. Цвет у него был, пожалуй, более насыщенный, тоже рубиновый... Терпкость другая... И ни в коем случае нельзя сразу есть сыр. С началом глотка лучше чуть прикрыть веки, попытаться отрешиться от окружающих предметов, расслабиться... Маленькая медитация с мотивом виноградной лозы. Ну а потом уже можно потянуться за ломтиком сыра. И не торопясь снова вернуться к размышлениям или прерванной беседе.

Где мы оставили Генку? В Ленинке? Ха! Чаще его можно было застать вечерами на койке в одном из женских строительных общежитий. Кажется, ее звали Валентиной. «Представляешь, что будет, если мать проведает, — без особых, впрочем, эмоций сетовал он. — С лимитчицей связался! Аспирант из хорошей семьи!»

И в Питере на Анечкину экскурсию поплелся он без интереса, только чтобы родители отвязались. И меня для компании прихватил. И тут..

«Осторожно, листопад!»

Ты не знаешь, кому предназначались те предупреждения на перекрестках — трамваям или пешеходам? Ах, откуда тебе знать! Вывешивались они осенью в темно-зеленых будках, там внутри сидели скучающие женщины и время от времени переключали трамвайные стрелки, а если техника не срабатывала, они выскакивали из будок с ломиками в руках и переводили рельсы вручную. А за стеклом в будках таблички висели: «Осторожно, листопад!» Может, они автомобилистов предупреждали, чтобы заранее притормаживали перед трамвайной остановкой? Трогательно, правда?..

Сейчас мне кажется, что в тот год их специально для меня повсюду развесили: позади осталось суетливое, но, в общем-то, пустое лето (рутинное хождение на работу, по выходным шашлыки на дачах у друзей, два-три случайных поцелуя), уже появлялось тоскливое предчувствие долгой зимней спячки, и тут вдруг — *унылая пора, очей очарованье...* Пик золотой осени и последняя надежда: что-то еще может сдвинуться с мертвой точки, вокруг которой кольцом сжалось мое одиночество. Опасное время... Может ведь сдвинуться так, что и сам рад не будешь...

Сдвинулось. Я влюбился — сразу и по уши. Безответно и навсегда.

Все! Пауза. Медитация... Виноградная лоза, искрящаяся капельками росы...

Итак, автобус переваливается через Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Анечка, чуть покачиваясь на острых каблучках, с микрофоном в руке стоит в проходе. Генка смотрит куда-

то в сторону, я слушаю Анечкин рассказ и вслед за движением ее руки оборачиваюсь к Летнему саду. В памяти всплывает затерявшееся: *пышное природы увяданье...* Я толкаю Генку в бок — Летний сад! Он послушно оборачивается и кивает головой — неплохо...

Мог я ли тогда себе представить, что три года спустя мы с Анечкой, грустные, почти без слов, будем идти по тому же саду, присыпанному первым рыхлым снегом, и у нее вырвется: «Неужели ты сможешь *отсюда* уехать?»

К тому времени этот маршрут стал одним из наших любимых: мы встречались на Невском возле метро — на мостике у Дома книги — и шли вдоль канала к Спасу на Крови, сворачивали в Михайловский сад, оттуда выходили на Садовую — как раз напротив замка, где Анечка, наверное, в силу своей профессиональной привычки каждый раз непременно показывала мне окна спальни Павла, и я, стараясь опередить ее, со смехом вскрикивал, что уже знаю, знаю, там его убили... и дальше, у *вазы порфирной* мы обходили пруд и шли в сторону Невы вдоль Лебяжьей канавки. Там после долгого молчания и вскрикнула: «Неужели ты сможешь...»

Она понимала, почему я *отсюда* решил уехать, и больше мы не касались этой темы.

«Спасибо за книгу», — она все время смотрела в сторону или просто под ноги, в снег. Я принес ей на прощание «Петербург» Андрея Белого и открыл заложенную страницу.

Тебе интересно? Я сейчас найду это место.

Хмурился Летний сад.

Летние статуи поукрывались под досками; серые доски являли в длину свою поставленный гроб...

Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель: голова его упала в меха, а глаза его как-то странно

светились; только что он сегодня решил углубиться в работу, как ему принес посыльный записочку; неизвестный почерк ему назначал свидание в Летнем саду...

Ты слышала, что во Франции придумали: собираются клонировать виноградную лозу. Мало им козы — или кого раньше клонировали? Теперь генная инженерия на виноград нацелилась; обещают, что от вредителей он будет защищен и свойства свои в полноте сохранит. Надо бы еще выпить, пока нам клонированного вина не подсунули. Пауза!

А знаешь, почему вино хранят в лежачем положении? Чтобы пробка намокала и тем самым препятствовала даже малейшему проникновению воздуха. Это уже потом воздух важен — для ощущения аромата и вкуса. В плохо закупоренной бутылке он только убивает вино... Ах, тебе это неинтересно. Как всякому существу женского пола, тебе интереснее узнать, что там у меня с Анечкой было. Какой она была?

Ничего особенного... Девушка как девушка, невысокая, кареглазая, волосы очень красивые — густые, шатенка. Кость у нее была тонкая, и это придавало ее фигурке впечатление хрупкости. Но не худобы — Анечка была удивительно пропорционально сложена, я бы даже сказал — изящна. И говорила легко, непринужденно, смеялась звонко. Редко бывала в плохом настроении, любила подтрунивать надо мной. Сейчас мне кажется, что я никогда не разговаривал с ней в том спокойном тоне, какой привычен для часто общающихся людей. Я всегда *спешил* что-то рассказать — увиденное, услышанное, прочитанное. Или доказать, или обрадовать, удивить. «Вчера, — кричу ей в трубку, — не поверишь, на Желябова в „Рапсодии“ без очереди взял Баршая — „Времена года“, две пластинки! Для тебя и для меня!» Мне и сейчас легко представить, как на том конце провода

Анечка недоверчиво посмеивается: «Ну, этого просто не может быть...»

Еще студенткой филфака она стала подрабатывать экскурсиями, и потом, после окончания университета, не захотела бросать эту работу. Родители расстраивались: аспирантура, научная или преподавательская карьера — все двери перед ней открыты их связями и положением, а она в пыльных автобусах бисер мечет... Это, кстати говоря, буквальное выражение ее мамы, Маргариты Павловны.

Анечка переживала, ее вообще задевало, что отношение к краеведению в научных кругах было по большей части снисходительное. «Сейчас в краеведении подвизаются любители и дилетанты, это так, — почему-то виновато поясняла она мне, — но вспомни Гревса, Анциферова, Яцевича! Они-то ведь были великими культурологами и отводили экскурсии важную роль». Иногда она словно спорила при мне со своими невидимыми оппонентами, и это были те редкие случаи, когда у нее появлялись пафосные интонации Маргариты Павловны: «То, что дает посещение исторических мест, никогда не возместится простым чтением источников, как никогда не утолит жажду написанная в учебнике формула H_2O . Это явление называется *властью места*, его великой силой, открывающей путь к постижению образа события. Ты понимаешь меня? Образа, духа!.. Анциферов писал о *душе* Петербурга... Как ты думаешь, можно ее почувствовать, не побывав в этом городе?»

Мы могли с ней часами бродить по Ленинграду: Петроградская сторона, Аптекарский и Каменный острова, набережные Мойки и Фонтанки, Васильевский... — все нами было по многу раз исхожено за те три года. Для Анечки это была родная стихия. Нет, она не рассказывала мне про каждый дом или улицу. Или рассказывала, но не всегда, чаще экспромтом касалась чего-нибудь или отвечала на мои вопросы. Мы могли говорить о му-

зыке, театре или просто о себе и своих друзьях, но никогда не теряли ощущения, что движемся в напластовании культурных слоев, топографическими координатами которых становился дом старухи процентщицы или Елагин дворец, кондитерская Вольфа и Беранже или кронверк Петропавловки.

Несколько раз мы ходили искать здания, которые Анечке нужны были для разработки новой экскурсии. Помню, как подолгу бродили по ее будущему гоголевскому маршруту. Частично он должен был проходить между Мойкой и Екатерининским каналом — по Вознесенскому проспекту и прилегающим улицам и переулкам, где среди мелких чиновников, модисток, купцов, кухарок и портных Гоголь прожил несколько лет. Сам он называл эти кварталы улицами «мещанских и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф». «Где-то там, — показывала Анечка в сторону Вознесенского моста, — жил цирюльник Иван Яковлевич, бривший по утрам несчастного „майора Ковалева“, а на мосту сидела торговка очищенными апельсинами. Это про нее говорил Ковалев, что она могла бы тут и без носа посидеть, ей это ничего, а ему это совсем не к лицу». Вечерами, дома, я перечитывал повести Гоголя и заново узнавал места, где, заинтригованный тайной переписки собак, бродил в раздумьях чиновник Поприщин, где из всех мелочных лавок несло кислой капустой и подлые ремесленники напускали в мастерских столько дыму и копоти, что тому же Поприщину или Ковалеву — особам «благородным» — там решительно невозможно было прогуливаться, где жили Шиллер и Гофман — да совсем не те, что известны своими сочинениями, а знаменитые в своей округе мастера, один жестяных дел, другой сапожных. Мы снова шли с Анечкой по этим улицам, и она показывала мне, как пересекаются здесь пути гоголевских персонажей и героев «Преступления и наказания».

Надо ли говорить, что с самого начала я интересовался не столько городом, сколько Анечкой? Просто город всегда оказывался рядом, она не расставалась с ним. И за это я ей тоже благодарен. За прошедшие двадцать с лишним лет я, может быть, ни разу не вспомнил и не представил Анечку вне питерского пейзажа. Это мог быть весенний Павловск или белый от снега и инея Кировский проспект, душный Невский с плавящимся асфальтом... Ах, все это не так просто... и про город тоже... Не знаю, смогу ли тебе объяснить, но... но сейчас, кажется, нужно вернуться к вину...

Мои друзья считали Анечку инфантильной. Как это лучше выразить? Нецелованная в свои двадцать три года скромница среди замужних или уже разведенных подруг. Я не прислушивался к этим мнениям. Но... В те немногие разы, когда мне удавалось ее обнять, она всегда сжималась в комок. Упустив возможность избежать моих объятий, она замирала, словно напуганный птенец. Ни одного ответного движения, никаких эмоций; робость, затаенное дыхание и напряженное ожидание того мига, когда снова будет свобода...

Мы стоим на Зимней канавке, как раз посередине; она ведь не длинная, эта канавка, и с одной стороны можно видеть плавный гранитный изгиб Мойки, а с другой — в арочной рамке эрмитажного перехода — Неву и крепость. Хмурое осеннее небо, ветрено. Если бы ты могла видеть Петербург в эту пору! Особенно в тот час, когда только начинает смеркаться, когда... погоди, сейчас дотянусь до томика Гоголя... Вот...

...Как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь...

Клочковатое небо, проглядывающее из-за серых и темных туч, начинает терять свою прозрачность. Тени растворяются на тротуарах — дневные уже исчезли, а миг появления вечерних еще не наступил. Вода в канавке только что переливалась серебристым оттенком — и вот уже приобретает сумрачную свинцовую окраску.

Набережная пуста, вокруг тихо, и только за углом на бывшей Миллионной слышится легкий шум, почему-то вызывающий тревогу. Что это?

...дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг...

Не Анечку ли в компании с молодым офицером-преображенцем уносят от меня те дрожки?

Анечка смеется, она стоит рядом и продолжает рассказывать какую-то забавную домашнюю историю. Я беру ее за руку, чуть притягиваю, тянусь губами к ее лицу. «Пойдем, — мягко освобождаясь, произносит она, — темнеет и прохладно...» Забавная история не имеет продолжения — Анечка угрюмо молчит, мы снова коснулись того, что мгновенно разрушает нашу дружескую идиллию. Молчаливо переходим Певческий мост, вдоль Мойки выходим к шумному Невскому, а я все еще слышу за спиной легкое постукивание колес по торцовой мостовой...

Как ты думаешь, почему мы все время по городу бродили? Ну, не каждый, разумеется, день, но раза два в неделю встречались непременно: в один из выходных почти всегда и иногда вечером в будни, после работы. Если было холодно, сидели в кафе, потом проходили немного пешком или проезжали пару остановок и снова укрывались в какой-нибудь кофейне — «Маленький двойной, пожалуйста. Две чашки». Говорили обо всем, обменивались книгами, пластинками... А домой друг к другу заходили

редко. Думаю, тебе понятно — почему. Та история на Зимней канавке объясняет все... Так что, милая моя, город, по которому три года бродил я с Анечкой, был моим утешением и моим проклятием: без него у меня не было бы той девушки, которую я любил, но он оказался и тем третьим лишним, от которого невозможно было избавиться. Со временем он стал моей мучительной ношей, тяжелым сном...

Все, не надо больше ничего говорить. Я тебе сейчас стих прочитаю. Если вспомню...

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

Все, не надо слов. За Мандельштама!

Анечка с удовольствием приглашала меня в компанию своих друзей или шла со мной в гости к моим знакомым, но и это продолжалось недолго. Тут уж я сам принял твердое решение никуда с ней не ходить. Не хотелось выглядеть смешным... Особенно после того, как одна из ее подруг, подняв за столом тост «За любовь!» и чокаясь со мной, добавила с улыбочкой, громко: «Ну, если у девушки нет возлюбленного, то должен быть хотя бы паж». Паж! Что она понимала, эта подружка!? А мои друзья? Были ли они лучше, когда сочувственно спрашивали меня: «Ну, что там у вас? Все еще ничего?»

Пару раз я ужинал у ее родителей. Но и там меня не воспринимали всерьез — не столько потому, что успели понять, что для Анечки я всего лишь друг и таковым, по-видимому, и останусь — с этим-то Маргарита Павловна могла бы при желании и побороться, но и она не видела во мне достойного ее дочери жениха. И вправду — что там за инженеришка-конструктор из захудалого КБ. Впрочем, Маргарита Павловна в любой ситуации умела оставаться женщиной светской: «У вас еще все впереди, прорветесь в аспирантуру, не всю же жизнь у кульмана корпеть... А эти эклеры — из „Норда“, да вы берите... не стесняйтесь...» Будто я стеснялся... Но повторяла это не раз — дистанцию обозначала. «Норд» произносила немного в нос, но я не знаю, что меня больше раздражало: все эти ее «Метропо-оли» и «Англете-эры» — или с легким дребезжанием голоса отчеканенные «ученый совет», «бюро обкома», «президиум», «комиссия»... Даже при обращении к дочери и к менее преуспевавшему в карьере мужу все эти слова произносились так, что становилось понятно: на Олимпе восседают избранные. Жалею, что ни разу не спросил ее, что именно она так *изысканно* «Нордом» называла, не кафе ли «Север»?..

Яичница распласталась рыхлым блином по тарелке, я макал в ее желтый глаз ломтики булки. Анечка улыбалась: «Вкусно?» Она совсем не умела готовить и считала свой экспромт чуть ли не верхом кулинарного искусства. «Тебе бы в „Метрополь“ поваром устроиться...» — отшучивался я. Вкусно ли? Я был наверху блаженства. Представь себе: *она* приготовила *для меня* яичницу — из двух яиц, выбрала тарелку — кажется, с каемочкой, минуты три искала чистую вилку, поинтересовалась, нужно ли мне масло для булки, а увидев в холодильнике соленые огурчики, тут же предложила мне один и, наконец, села напротив с веселым и заботливым взглядом и спросила: «Вкусно?» Этакая маленькая

домашняя идиллия — впервые. В четыре часа утра! Да-да — было не меньше четырех утра, и за окном — июнь и белые ночи. Ха, ты подумала, что на этот раз мы сумели-таки избавиться от нашего компаньона — третьего лишнего. Ничуть! Во-первых, до этого мы долго гуляли, как не трудно догадаться, по ночному городу, а во-вторых, с нами сидела Лена — Анечкина приятельница, в ее квартире все это и происходило.

Как — откуда она взялась? Из нашей истории и взялась: с нами же обязательно должен быть кто-то третий. Если понадобится, он и из пустоты возникнет... Раньше я никогда Лену не видел. Помню только, что Анечка называла ее давнишней знакомой — жили они, вроде, в детстве в одном дворе — и озабоченно добавляла, что ее мужа-инженера призвали в армию, а она не захотела с ним поехать и вдруг загуляла, и на каждом шагу ему *изменяет* (это слово Анечка произносила шепотом и с ужасно расстроенным выражением лица). Кажется, она была симпатичная — эта Лена, но я не разглядывал особенно. Ходит себе рядом, и пусть, раз Анечка ее с нами позвала. Если бы она еще и не ныла на каждом шагу. То ей облачность большой кажется, то прохладно ей... Мы переглядывались с Анечкой — нас не смущали облака, и ночь казалась теплой... Мы гуляли с одиннадцати вечера, сначала на Дворцовой набережной, потом, в последний момент перед разводкой мостов, перебрались на Васильевский, со Стрелки смотрели, как медленно поднимается тяжелый пролет Кировского моста и как потом пошли вверх оба крыла Дворцового. Наконец, появились первые баржи, и мы пошли за ними по набережной в сторону моста Лейтенанта Шмидта. Кто-то еще сказал тогда, что мы сопровождаем корабли, как дельфины в море... Ну хорошо, не буду лукавить — это я сказал. Сейчас это смешным может показаться, но тогда меня немного укачивало от мысли, что мы с Анечкой наконец-то оказались впервые вместе ночью, пусть на улице, пусть в компании подруги, гуляющей

публики, тех же зданий, реки и набережных, но все равно — впервые так... Я шутил, смеялся, сыпал банальными репликами, а у сфинксов напротив Академии художеств, к собственному моему удивлению, стал подпевать двум подросткам, с остервенением терзавшим гитары.

Там, в городе, легкое нытье Анечкиной приятельницы немного мешало нам обоим, здесь же, в собственной квартире Лены, ее присутствие начинало уже раздражать; но, разумеется, только меня.

Они оставили меня доедать яичницу и пошли в другую комнату укладываться спать. Некоторое время в коридоре еще раздавался шум, слышны были голоса, потом стало тихо. Затем снова послышались шаги — в сторону ванной. Не было сомнений — они принадлежали Анечке. Я подождал немного и вышел из предоставленной мне комнатки в тот самый момент, когда она снова оказалась в коридоре. На ней был светлый халатик, чуть запахнутый. Я притянул ее крепко к себе и впервые встретил сопротивление. Раньше она всегда сжималась как воробышек, и я отпускал ее. А тут почти сразу уперлась в меня обеими руками. И от этого резкого движения халатик ее распахнулся... «С ума сошел», — тихо прошипела она и ударила меня кулачком по плечу. «Давно сошел», — почти выкрикнул я, опустив руки.

Проснулся через три часа. Хлопнула входная дверь, и я сразу понял — Анечка ушла. Ну да, она ведь говорила, что уйдет рано, ей чуть ли не в восемь нужно забирать группу туристов у речного вокзала. Я вспомнил, как распахнулся халатик — там, в коридоре. И ее шипящий тихий вскрик: «с ума сошел»... Короткую ночь разделяла нас тонкая перегородка. Впервые так близко... Она спала там — наверное, подперев щеку кулачком, которым ударила меня. Сладко потягивалась? Легко дышала? И проснулась от звонка будильника, а не от моего поцелуя.

Я встал со своего диванчика и вышел в коридор. Дверь во вторую комнату оказалась открыта, и я увидел Лену — спящую с чуть приоткрытым ртом. Она лежала на боку под тонким летним одеялом, чуть поджав под себя ноги...

Я сам рассказал Анечке обо всем, что случилось дальше. «Этого не может быть», — она смотрела на меня оторопело, и я ждал, что сейчас ее кулачки сожмутся и снова упадут на мои плечи. Нет, руки ее безвольно висели вдоль тела. «Этого не может быть! — повторила она. — Ты не мог этого сделать!» — «Я ничего и не сделал, она меня оттолкнула, я оделся и ушел». — «Сделал!» — почти гневно вскрикнула Анечка, резко повернулась на своих каблучках и исчезла в толпе.

Пауза. Будем смотреться в вино, как в зеркало — время от времени. Или ты не согласна с Данте? Как при чем тут Данте? Разве не он говорил, что с начала творения именно вину дана та сила, которая призвана делать светлее тенистую дорогу истины? Помолчим...

Видела? Пока я тебе про Данте втолковывал, машинально выпил все залпом. Фу! Все опошил — ни аромата, ни вкуса... Придется повторить, извини...

Она не подходила к телефону. Маргарита Павловна всякий раз озабоченным тоном сообщала, что Анечки нет дома, что у нее сейчас друзья и неловко ее отвлекать, что она готовит новую экскурсию и очень занята, и лучше позвонить в другой раз, может, недели через две-три, что Анечка недавно пришла, но с головной болью, и потому прилегла отдохнуть... Я даже проявил малодушие: услышав по радио, что Маргарита Павловна избрана делегатом очередного съезда партии, тут же позвонил, чтобы ее поздравить. И если бы она в тот момент вдруг пригласила меня зайти («у нас как раз свежие эклеры из „Норда“, и

Анечка вам будет рада»), я тотчас простил бы ей всю ее обывательскую спесь. Но она лишь сухо поблагодарила и быстро попрощалась. Потом к телефону перестали подходить вообще, и только позже я узнал, что Анечка с родителями уезжала чуть ли не на месяц в Юрмалу...

Это нетрудно себе представить: встречаешься с девушкой, и кто-то третий, вольно или невольно, с вами все время рядом. Потом девушка уходит, и ты остаешься с тем третьим один на один. И начинает казаться, что он — единственный, кто способен понять тебя, кто по меньшей мере терпим к твоему нескончаемому монологу о ней, готов переносить твой горячечный бред. Но вскоре замечаешь, что оказался в его власти — тебя непреодолимо тянет к нему, и сам он становится твоей мукой. И ты не знаешь, как от него избавиться... тем более, если этим третьим оказывается целый город — с его реками, мостами, домами, людьми, деревьями, птицами, небом и ветром... Куда деваться, когда он по собственному своему капризу (не знаю, от чего это зависит — может быть, от погоды, цвета неба или сиюминутного оттенка воды в Неве) вдруг обращает свои прежние терпимость и участие в насмешку, а то и хлестко ударяет по твоему маленькому, уязвленному несчастной любовью «я». Таков он и есть, этот Питер.

Я ходил по его улицам и каналам, кружил по тем же местам, где бывали мы с Анечкой. Смаковал воспоминания... Вот тут она проходила со мной — на маленьких каблучках, в длинном зеленоватом плаще, перехваченном пояском на тонкой талии. В той подворотне прятались мы от июльского ливня в прошлом году. Там слепила снежок и звонко смеялась... Знаешь, как это у Анненского...

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты...

Там еще последние строфы, сейчас вспомню... Такие безнадёжные и безжалостные:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

Все в этом городе невольно примерялось и оказывалось в пору моей печали. И я думал, что только тогда все пройдет и восстановится прежнее равновесие в моих отношениях с городом, когда я снова встречу ее на его улицах.

Вечерами безуспешно заглядывал в читальные залы Публички, в которой прежде она порой пропадала часами. В обеденный перерыв ехал к станции метро «Горьковская» — в надежде увидеть ее проезжающей мимо в автобусе; в это время она могла возвращаться по Кировскому проспекту со своими туристами с места дуэли Пушкина или с Пискаревского кладбища. Всякий раз постигала меня неудача. Иногда в толпе на Невском вдруг мелькала похожая фигурка, и я глупо ускорял шаги... Ускорял, чтобы лишний раз удостовериться, как прав был Гоголь, призывавший не доверять этому проспекту, где *все обман, все мечта, все не то, чем кажется*. Ах, если бы только Невский был столь коварен! Куда бы ни направлялся, Питер играл со мной на каждом шагу: внушал надежду и тотчас ее отнимал, дразнил эхом ее каблучков, легкого смеха, отражением миниатюрной фигурки в

водных зеркалах и даже вывесками, в которых так часто встречались буквы ее имени... *А-не-ч-ка*... Проклятый город! Он многих мучил, и Пушкину тоже досталось.

Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...

Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Так прошло лето. В конце сентября встретил ее — случайно на улице. Ждал такой встречи, надеялся увидеть печальной, бредущей в одиночестве по тем местам, где ходили мы вдвоем. Но нет... Начнем с того, что она не шла, а стояла. Стояла как раз там, где мы обычно встречались — на мосту у Дома книги, в двух шагах от входа в метро. И совсем не выглядела печальной. Она оживленно болтала с каким-то самодовольным пижоном. Не останавливаясь, обходил я их стороной и уже готов был отвести взгляд, как она заметила меня. Рука ее дернулась, будто хотела поприветствовать. Я промямлил «здрав...», чуть мотнул головой и пошел дальше. Кажется, я собирался войти в метро, но оказалось, что нет никакой возможности свернуть куда-нибудь или остановиться. Я мог действовать только по инерции — идти, как шел прежде, в том же направлении... Теперь я уже никого не видел вокруг. И лишь в какой-то момент показалось, что во встречной толпе мелькнуло знакомое лицо с насмешливой улыбкой. Маргарита Павловна? На смену инженеришке-конструктору в задрипанном свитере, наконец-то, в их дом пришел достойный Анечки молодой человек — в костюме с галстуком и в хорошо отглаженной рубашке, «из хорошей семьи», хоть сейчас его на ученый совет, а потом в ЗАГС... Пришел и стоит теперь на моем

месте — там, у Дома книги, на мосту. Неужели у нее не хватило такта, чтобы избрать другое место для новых свиданий? Теперь он смотрит в ее глаза, обнимает ее и, может быть, она уже не сжимается, как прежде, воробышком...

На Аничковом мосту (вот уж поистине несчастное созвучие с ее именем) пришлось все-таки остановиться. Песчинка или еще какая дрянь, поднятая ветром с широкого тротуара, попала в глаз...

А ты что подумала? Ну не мог же я сам по себе прослезиться — мужик в тридцатилетнем возрасте. Но эта маленькая провокация осеннего ветра сделала свое паршивое дело. Пришлось отвернуться от прохожих, уставиться в Фонтанку и украдкой вытирать глаза. Гранитные бока реки были влажными, как мои веки. Почему-то именно эта незатейливая ассоциация вызвала в гудящей голове неожиданную, но достаточно ясную мысль: я не могу больше жить в этом *сером* городе. Да, да — сером! Я вдруг понял, что это преобладающий его цвет: серый или даже грязно-серый; это цвет его набережных, решеток, неба, мостовых опор, фонарных столбов и тех, прежде радовавших глаз, колесоотбойных столбиков, сохранившихся у многих подворотен со времен экипажей и карет, это цвет отвратительного современного асфальта, выщербленной штукатурки старых домов на Васильевском, Петроградской, в Песках, цвет бесконечно тянущихся бетонных фасадов новостроек... Какой-нибудь зеленый Зимний или желтый Сенат — всего лишь пестрые заплатки на этом унылом, продуваемом ветром городском пейзаже. И вода вокруг не легкая и прозрачная, а темная, давящая...

Наверное я слишком долго смотрел в воду... Началось что-то вроде головокружения и я почувствовал себя невесомым. И совсем не удивился, когда новый порыв ветра подхватил меня, словно опавший осенний лист, и легко понес вверх. Хватило сил лишь выкрикнуть: «Осторожно, листопад!..»

И знаешь, что я увидел сверху, когда открылся этот огромный, распластаный город, ставший на пути горделивой реки? Подо мной была извилистая нельская дельта, только теперь она походила на гигантского спрута, цепко обхватившего мокрыми щупальцами холодные кварталы.

Может быть, в эту отвратительную рожу и плюнул в свое время Есенин с Симеоновского моста, а вовсе не из озорства или недовольства собой?..

Где они — исхоженные Мойка, Фонтанка, Пряжка?.. Я видел внизу мерзкие шевелящиеся отростки — длинные и короткие, плавно изгибающиеся и ломаные... И счет шел не на единицы, а на десятки... Горожане с ними испокон веку боролись, и многие были уже давно ими обрублены, засыпаны и похоронены навсегда, оставшиеся зажаты гранитным камнем, но Неве и это оказалось нипочем: что ей мелкая суэта смертных, если она поставлена здесь выполнять свою работу перед лицом вечности?

Куда подевалась праздничность, воспетая легкость Петербурга? Почему в последние месяцы он всей тяжестью своего мокрого гранита ложился на мои плечи?

Ветер кружил меня над жилыми кварталами, а потом резко потянул в сторону Финского залива, и вскоре все, что составляло для меня этот город, — реки и каналы, Исаакий и Медный всадник, мосты и Петропавловская крепость, Анечка, мои родители, друзья... — все стало сливаться в единое темное пятно. Оно резко уменьшалось в размерах, пока не превратилось в крохотную точку. Впереди была видна только темная полоса горизонта, за которой прятались развенчанные некогда поэтом Батюшковым и недосыгаемые для меня «ветхий Париж» и «закопченный Лондон»...

Когда я немного пришел в себя, понял, что стою на том же месте, судорожно вцепившись руками в решетку. Я попробовал было обернуться, в надежде рассмотреть в начале Невского лег-

кий шпиль с золоченым корабликом, но тотчас уперся взглядом в клодтовских коней, которые угрожающе нависали надо мной своими тяжелыми копытами.

Ладно, ладно... ты скажешь, что нытье — удел неврастеников и несчастных влюбленных. Ты мне еще Гюго процитируй — о том, что меланхолия — есть наслаждение чувствовать себя достойным жалости. Может, и так... Но тебе просто незнаком тот город. А я скажу: в нем очень страшно оказаться одиноким и ненужным. Нева со своими щупальцами расправляется с такими потерянными фигурками быстро и безжалостно: с одного шпиль на ходу сорвет, другого разума лишит.

Хотел ли я повторять судьбу Акакия Акакиевича или несчастного Поприщина? Нет. Там, на Аничковом мосту, я принял решение.

Я закрыл глаза и перегнулся через решетку. Нервный озноб еще не оставил мое тело, но голова становилась все более ясной, и все более прочным представлялось мне только что созревшее намерение. Я открыл глаза и плюнул в воду.

Теперь я твердо знал, что уеду отсюда...

И что ты думаешь? Она позвонила мне — в тот же вечер! Как ни в чем не бывало спрашивает, почему мимо прошел. Что я отвечаю? Мешать не хотел, ворковали себе, и ладно... А она удивленно: «Ворковали? С Максимом?»

С Максимом... Ну конечно же: у него должно быть именно такое имя... Костюм, галстук... Макс... Белая рубашка... Родители «с положением»... Макс... Норд... Папины «Жигули»... Макс... А кто там мимо прошел? Так это Гриша, мой знакомый, он из конструкторского бюро...

Я молчал в трубку. И Анечка замолчала, и мне показалось, что ей грустно. А потом она сказала: «Я его видела, наверное, всего второй раз». — «Ну уж...» — «Это Дмитрия Сергеевича

аспирант, мы по делу встречались». — «И многие у тебя по делу Дмитрия Сергеевича проходят?» Странно, что она не положила трубку. Напротив — неожиданно хихикнула: «Гришка, а все-таки ты дурак».

Максим оказался аспирантом известного академика, женатым, у него болел ребенок, и Маргарита Павловна, благодаря своим обкомовским связям, достала какие-то редкие лекарства, которые Анечка и передавала ему возле Дома книги.

Трагедия при ближайшем рассмотрении оказалась мелодрамой. Не Максима и не его больного ребенка имею в виду, а себя. Ни серый гранит и водная стихия, ни ветер и никакие случайные песчинки не были виноваты во всем том, что пережил я на Невском и Аничковом мосту. Адмиралтейская игла оставалась символом *строгого, стройного* Петербурга, а буйных клодтовских коней крепко сдерживали мускулистые красавцы, вспомнив которых, я снова свято уверовал в превосходство человека над стихией.

Одним словом, я легко поддался утешению. Особенно после примирительной фразы, намекающей на разлучившую нас на целых три месяца историю. Анечка произнесла ее с легкой усмешкой: «Все мужчины подлецы, я это слышала. Особенно блондины». Я был прощен.

Мы снова стали встречаться.

А дальше... Дальше — ничего интересного.

Если у девушки нет возлюбленного, то должен быть хотя бы паж... Пили кофе («Маленький двойной, пожалуйста. Две чашки»), обменивались книгами, бродили по городу, время от времени она сжималась воробышком, и тогда раздавалось неизменное: «Гриша, не надо, пойдем, уже поздно...» Все как и раньше. Только в этом нашем втором круге не было прежней непринужденности, свежести и неизведанности... Все вдруг несколько поблекло. И город стал таким же — не друг и не враг...

Я начал потихоньку собирать документы на выезд по израильской визе. Анечке до последнего момента ничего не говорил.

Что с ней дальше стало? А разве я не сказал? За Генку замуж вышла. Генкины-то родители давно этого хотели. Сам он большого интереса к Анечке не проявлял. Приезжал в Питер, мы встречались втроем. Про мои чувства он знал все. Тут и рассказывать нечего было — видел. Про себя ничего не говорил. Может, прикидывал что-то? А потом, уже после моего отъезда, раз — и женился. Ну а как же иначе? Он и раньше был уверен, что престижная служба и жена «из хорошей семьи» ему обеспечены — семейные традиции, так сказать, клановость. Диссертация защищена, карьера, стараниями родителей, уже обозначена, вешки расставлены. Ему тридцать, Анечке двадцать семь — время уходит!.. Свадьбу в двух городах праздновали: в Ленинграде, потом в Москве.

Сейчас их сыну уже за двадцать... Анечка — доцент, экскурсионная работа давно оставлена ради восхождения на научный Олимп. Теперь она Анна Эдуардовна, Анечкой ее никто уже не называет.

«Добрый день, Анна Эдуардовна!»

«С интересом ознакомился с вашей последней публикацией, Анна Эдуардовна.»

«Слово предоставляется уважаемой Анне Эдуардовне...»

Генка фотографию показывал, я смотрел и не понимал: она и не она... Глаза те же, волосы такие же красивые, но как-то многое вдруг от Маргариты Павловны проявилось... И все же казалось, вот сейчас она чуть-чуть повернется, встряхнет головой, стрельнет своими карими глазами и скажет знакомым голосом: «Гришка, а все-таки ты дурак».

Я сейчас и вправду глупость скажу, но ты не смейся... Иногда я думаю, что если бы у Анечки родилась дочь, она была бы сей-

час на ту девушку, которую я знал, очень похожа. И какой-нибудь напоминающий меня молодой человек ее встретил бы и обязательно полюбил. И может быть, на этот раз все было бы по-другому...

Но у нее сынок, и он бунтует. Анечка его в аспирантуру тянет, а он от отца требует, чтобы тот его в городскую администрацию пристроил. Новая генерация на подиуме нашего старого, классического Петербурга...

Ты знаешь... Когда мы с ней прощались, там, в Летнем саду, все статуи в деревянные ящики были зашиты. И, как сказал поэт, «серые доски являли в длину свою поставленный гроб...»

Я тебе теперь по большому секрету скажу: я в одном из этих гробов остался и до сих пор там стою, вместо статуи...

Потерявшаяся душа...

Публика не замечает, а умные собаки чувят — постоят рядом, поскулят сочувственно и дальше за хозяевами плетутся...

Ну вот... последний бокал... и больше ни-ни... Хочу только за моих четвероногих друзей выпить. Не возражаешь?

А тут еще Павел убиенный стал сниться... Будто забегает ночами в Летний сад меня проведать. Скучно ему столетиями по Михайловскому замку мыкаться, да и сыро там. Вот и повадился, как стемнеет, на Марсово поле к вечному огню — косточки погреть, а потом ко мне — поболтать о том о сем. «Россию, — говорит, — любить надобно...» — «Вы это уже Достоевскому внушали», — напоминаю ему. «И что он? Кто таков? Из преобразенцев?» Постарел, забывчив стал и поворчать любит. «Сколько, — спрашивает, — ночному сторожу за место приплачиваете? Мои-то соколики-секьюрити, которых в замке понаставили, не по чину стали требовать — валютой...»

Я ему про Анечку, а он только отмахивается: «Ах, вы не знали фрейлины Нелидовой! Что ваша Анечка — простушка... Вы

уж не обижайтесь, любезный... Да и худа она, судя по вашим описаниям, как посудомойка... А у Нелидовой — формы пышные, осанка герцогини... И внутри... лед и пламень! Много мне через это пришлось страдания перенести...» Утрет батистовым платком слезу и исчезнет. Бросит только на прощание: «Небось по городу бродите, ищете ее, думаете о ней? Знаем мы эту болезнь: невский сплин называется...»

А тут однажды огляделся боязливо по сторонам и шепчет: «Ах, любезнейший, как верно вы поступили, что уехали отсюда. Здешний климат и этот город слишком губительны для человека с раненой душой... Я вот вам по секрету прочту, крамольное...» И достает бумажечку потертую — из-за пазухи.

Рим создан человеческой рукой,
Венеция богами создана,
Но каждый согласился бы со мной,
Что Петербург построил сатана!

«Сочинителя... запаматовал, как его фамилия...» — «Мицкевич». — «Вот-вот... слышали, значит... Следовало бы в крепость этого Мицкевича, под замки да в колодки. За пращура... Но ведь и правда в тех словах кроется — не про Петра, а про Град Его...» И кулаком сухим в небо стал грозить: «А все он виноват — климат этот... И Нева... Державой себя возомнила... Еще при основателе против столицы бунтовать начала. Петру-то оно и по душе, и по силам — стихию вожжой одергивать... Но знаете, Гришенька, с ним ведь и кончилось дикое и мужественное русское средневековье... А нам... Это Пушкин правильно про нас сказал: „С божией стихией царям не совладеть...“ Мы дети куртуазного восемнадцатого столетия — парики, жабо, приемы, интрижки...» И платок батистовый снова из кармана достает: «Нам бы с фрейлиной Нелидовой как-нибудь сладить... Так как, гово-

рите, вашу барышню зовут?.. И что — хорошенькая?..» Такой вот любопытный тип.

Как-то цитировал ему Блока «*О город мой неуловимый, / Зачем над бездной ты возник?..*», а он с грустью прерывает: «А помните, в „Снежной деве“: *сфинкс с выщербленным ликом над исполинскою рекой...*»? Помолчал и рукой в сторону Невы: «Разве это не так? Разве она не держава? Я, признаться, частенько на рассвете этим чудом люблюсь: город-сфинкс, поднявшийся над гладью рек и каналов... И много думаю об этом. Ведь Санкт-Петербург для одержимых строился — таких, как пращур Петр. Еще тщеславные, как моя матушка, в нем вольготно себя чувствовали, да купечество, заводчики, штольцы... Но для души впечатлительной, ранимой или склонной к рефлексии Петрополь — вечное страдание и погибель... И вас, Гришенька, наверное, уже не отпустит этот захватывающий воображение мираж... А как же без него и куда без него? Поверьте старику: в нем уже растворилась ваша жизнь и, если хотите, ваша судьба со всеми очарованиями, сомнениями, надеждами и любовью...»

О-о... что-то мы с тобой сегодня заболтались... И полосочку, за которой буквы *f* и *v* местами начинают меняться, не заметишь. А все потому, что ничего я не понимаю в вине. Кто понимает, всегда сможет вовремя остановиться. Нужно уметь правильно расслабляться... Как это мы с тобой назвали? А! Медитация с мотивом виноградной лозы. И не болтать. И не распускать нюни... Нужно быть одержимым, как Петр, или чванливым, как Маргарита Павловна... И главное — знать толк в вине. Вот Генка — он знает. Я тебе рассказывал, как мы с ним в итальянский ресторан ходили? Ну и что, что повторяюсь? Какая тебе разница, если ты все равно весь вечер проспала...

Он протянул руку к лежавшей у его ног мохнатой дворняжке, легко коснулся взглядом движением и медленно поднялся из

кресла. Чуть качнувшись, дернул шнурок торшера и направился в спальню. Некоторое время оттуда еще доносилось тихое ворчание: «Дрянное вино... дешевка за два с полтиной... хорошим бы не напился... лоза, да не та... или уже клонировать успели? Отчего бы и нет. Меня ведь клонировали — и ничего. Сюда копию заслали, а оригинал там... в Летнем саду, у самой Невы... Только Питер им не клонировать... ни фига...»

2005*

* Рассказ опубликован в журнале «Зарубежные записки» (№ 1, 2008; Дортмунд). Перепечатывался в журнале «Грани» (№ 247, 2013; Париж).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
к разделу «Исторические заметки»

- Августа Амалия Баварская (дочь
Макса I в первом браке) – 64
Авторханов А. Г. – 77
Аденауэр К. – 104
Адлерберг А. (Лерхенфельд,
Крюденер) – 35, 64-67
Адлерберг Н. В. – 66, 67
Адлерберг Н. Н. – 67, 68
Ажбе А. – 7, 8, 16
Азеф Е. Ф. – 18-25, 28, 29
Аксаков И. С. – 35
Александр I – 35, 55-58
Александр II – 36, 66-68, 193
Александр III – 107
Александр Гессен-Дармштадтский
– 193
Александра Николаевна, вел. кн.
– 59, 60
Александра Федоровна,
императрица – 36, 56, 59-61, 63,
65, 78
Алексей Александрович, вел. кн.
– 69
Аллилуева С. И. – 141
Андроников И. Л. – 42
Антокольский П. Г. – 114
Аполлинер Г. – 175
Артамонов Е. – 15, 16
Аттенхубер Ф. – 70-72
- Баклушинский** – 32
Бакст Л. С. – 179
- Бальзак О. – 46
Барановский Н. Э. – 74, 75
Баратынский Е. А. – 44
Барбаросса Ф. – 186
Баршай Р. Б. – 105
Батюшков К. Н. – 44
Бауэр Р. – 39
Беатриса, принцесса – 68
Бегичев В. П. – 171
Беггрова-Гартман О. – 113
Белый А. – 84, 86, 88, 95, 99, 114
Бенкендорф А. Х. – 35, 60
Бенуа А.Н. – 94
Берг А. – 177
Билибин И. Я. – 97
Бисмарк О. – 184
Блерио Л. – 19
Блудов Д. Н. – 35
Богарне Е. – 62
Бонч-Бруевич В. Д. – 12
Бордоский, герцог (гр. де
Шамбор) – 64
Бородин А. П. – 105
Борман М. – 162
Бош Р. – 29
Брамс И. – 111
Браун Е. – 133, 138, 140, 141
Брюллов А. П. – 35
Брюллов К. П. – 35
Брюсов В. Я. – 175
Булгаков В. Ф. – 176
Бунин И. А. – 76

- Бухало А. (Хютнер) – 28, 29, 31
 Бухало И. (Хойзер) – 29, 31
 Бухало С. Н. – 17-33
- Вагнер Р.** – 38, 171, 176, 178, 179, 185, 188, 196
 Вандерпул Л. – 174, 175
 Веревкина М. В. – 8, 105, 106
 Верещагин В. В. – 90
 Верещагина А. М. – 41
 Верлен П. – 175, 177
 Виельгорский М. Ю. – 35, 63, 78
 Виктория Федоровна (Виктория Мелита) – 68
 Вильк Е. А. – 183
 Вильмонт Н. Н. – 178
 Винклер М. – 42
 Виньон – 68
 Висконти Л. – 195
 Виттельсбахи (династия) – 70, 72, 169, 186, 192
 Власов А. А. – 75
 Волконская З. А. – 35
 Волконский П. М. – 35
 Волошин М. А. – 99, 175, 179
 Врангель П. Н. – 75
 Вышковская Ж. А. – 35
 Вяземский П. А. – 35, 36, 44, 50, 65, 101, 103
- Габельсбергер Ф. – 38
 Гагарин Г. И. – 35, 50, 56
 Гагарин И. С. – 35, 65
 Гартман И. – 113
 Гартман К. – 113
 Геббельс Й. – 151, 162, 163
 Гегечкори Е. П. – 77
 Гейне Г. – 46
 Гельцер В. Ф. – 171
 Гернгросс Р. – 113
 Герринг Г. – 151
 Гершуни Г. А. – 21, 22
 Гесс Р. – 161, 162
- Гёррес Й. – 34
 Гёте И. – 37, 46, 49, 176
 Гиммлер Г. – 162
 Гитлер А. (Вольф, фюрер) – 10, 73, 76, 87, 88, 114, 115, 118, 125-142, 151-153, 156, 161-165
 Гитлер (родственники) – 127-142
 Гиппиус З. Н. – 110
 Глазенап П. В. – 75
 Глазунов А. К. – 105
 Глазунова-Гюнтер Е. – 105
 Гоголь Н. В. – 35, 37, 98
 Горбачев М. С. – 79
 Горький М. – 75
 Гофман Э. Т. А. – 37
 Грабарь И. Э. – 7, 8
 Граббе П. Х. – 35
 Греч Н. И. – 35
 Григорович Ю. Н. – 105
 Губер Ф. – 163
 Гудден Б. – 191
 Гуль Р. Б. – 29
 Гутман Н. Г. – 78
 Гюнтер Г. – 105
- Делагранж Л.** – 19
Державин Г. Р. – 37
Джугашвили Я. И. – 140
Дисней У. – 173
Дмитриев И. И. – 44
Донская Н. М. – 32, 33
Донской Д. Д. – 31-33
Дорис, монахиня – 92
Достоевский Ф. М. – 122
Дюбарри Ж. – 189
Дягилев С. П. – 42
- Екатерина II** – 56
Елена Павловна, вел. кн. – 36
Елизавета,
императрица Австрии
(Сиси) – 71

- Елизавета Алексеевна,
императрица – 55, 56
- Жан Поль** (Рихтер И.) – 38
Жуковский В. А. – 35, 38, 44,
50, 65, 107
Жуковский П. В. – 38, 107
- Зандгрубер Р. – 133
- Извольская** Е. А. – 67
Извольский А. П. – 67
- Каверин** В. А. – 114-116
Каган О. М. – 78
Каменский В. В. – 30
Кандинский В. В. – 8, 11, 12,
15, 105, 106
Карамзин Н. М. – 37, 44
Кардовский Д. Н. – 7, 8
Карл Великий – 52
Карл, принц – 65, 89
Каролина Августа (дочь Макса I,
жена Франца I/II) – 55, 64
Каролина Баденская, королева
Баварии – 54, 62
Касас Р. – 8
Керенский А. Ф. – 77
Киль Л. И. – 89
Киреевский И. В. – 35, 45, 93
Киреевский П. В. – 35, 45
Кирилл Владимирович (Кирилл I)
– 68, 69
Кленце Л. – 57
Книппер Л. К. – 117
Книппер-Чехова О. Л. – 117
Козлов И. И. – 44
Котта (Cotta J.) – 46
Коцебу А. Е. – 90
Крупская Н. К. – 12, 92, 93
Крюденер Амалия – см.
Адлерберг А.
Крюденер А. С. – 64-66, 94
Кузнецов Ю. – 24
- Кузнецова Г. Н. – 76, 77
Кукольник Н. В. – 35
Кумминг Е. Л. – 104, 106,
114-117
Кумминг В. – 115-117
Кшесинская М. Ф. – 179
Кюхельбекер В. К. – 103
- Ленин В. И. (Иорданов) – 11, 12,
14, 15, 92, 93
Леопольд Баварский – 192
Лермонтов М. А. – 36, 41-43
Лермонтов М. Ю. – 36, 41, 42
Линде К. – 84
Лопухина В. А. – 41
Луитпольд, герцог – 70-73
Луитпольд, принц-регент –
70, 85
Луначарский А. В. – 42
Львов А. Ф. – 108, 110
Людвиг I – 34, 46, 47, 49,
89, 169, 187
Людвиг II – 71, 85, 167-196
Людвик XIV – 181-183,
188-190, 195
Людвик XV – 183, 188, 189
- Макс I** (Макс Йозеф) –
55-58, 62
Макс, герцог – 57, 193
Максимилиан II – 49, 182,
185-187
Максимилиан Лейхтенбергский
– 62-64
Манн Т. – 111, 190
Мария Александровна,
герцогиня – 68, 69
Мария Баварская, королева – 193
Мария Николаевна, вел. кн. – 36,
61-64, 78
Мария Эдинбургская
(Румынская) – 69, 70
Маркиза де Помпадур – 189
Маяковский В. В. – 114

- Мельгунов Н. А. – 35
 Мериме П. – 46
 Метц И. – 91
 Михаил Павлович, вел. кн. – 36
 Можайский А. Ф. – 24
 Мозер И. – 80
 Морозов К. Н. – 17
 Моцарт А. – 111
 Мур Т. – 46
 Мурузи К. – 67
 Муссолини Б. – 118
- Набоков В. В.** – 115
 Наполеон – 62, 80
 Нарышкина М.А. – 35, 56
 Никитенко А.В. – 35
 Николай I – 35, 56, 59-62, 69, 193
 Николай II – 18, 32, 68, 69
 Новиков Т. П. – 170, 179
 Ноймайер Дж. – 179
 Нойнер Э. – 40, 41
 Нуреев Р. Х. – 105
- Овербек А. (Онегин Е. Б.)**
 – 107-111, 120
 Овербеки – 110
 Окуджава Б. Ш. – 25
 Олеша Ю. К. – 14, 16
 Ольга, княгиня – 104
 Ольга Николаевна, вел. кн.
 – 61, 62
 Онегин З. (Гофман Л.) – 106-112
 Онегин (Отто) А. Ф. – 106, 107
 Остроумова-Лебедева А. П. – 97
- Пазетти А. И.** – 112
 Пазетти Л. А. – 106, 112, 113
 Пазетти П. – 113
 Пален Ф. П. – 35, 39, 40
 Пастер Л. – 84
 Пастернак Б. Л. – 44, 74, 177-179
 Пастернак Е. Б. – 74
 Пастернак Е. В. – 74, 178
 Пастернак Ж. Л. – 74
- Пастернак Ф. – 74
 Паулос Ф. – 140
 Пенцольдт Ф. – 109-111
 Петр Первый (Великий) – 55
 Петров И. Р. – 116
 Петров-Водкин К. С. – 13, 16,
 100
 Пипин Короткий – 52
 Планк М. – 72, 73
 Плисецкая М. М. – 81
 Погодин М. П. – 35, 45
 Прингсхайм Х. – 111
 Прокофьева М. А. – 31, 32
 Пуанкаре Р. – 67
 Пушкин А. (стенограф) –
 36-40, 121
 Пушкин А. (трактирщик)
 – 39, 40, 121
 Пушкин А. С. – 34-38, 40, 44, 46,
 65, 101, 103, 107
 Пушкин В. Л. – 36
 Пушкин Й. – 38-41, 121
 Пъеха Э. – 101
 Пьецух В. А. – 25
- Райт, братья** – 18, 20
 Рейтер М. – 125-127
 Репин И. Е. – 8
 Рём Э. – 73, 74
 Рожалин Н. М. – 35
 Розанов В. В. – 15
 Розенберг А. – 162
 Ростропович М. Л. – 78, 105
 Рубинштейн А. Г. – 105
- Савинков Б. В.** – 17-24, 28-32
 Сверчков В. Д. – 90
 Северин Д. П. – 35
 Сен-Симон Л. – 190
 Сетто А. – 48
 Скотт В. – 46
 Слесарев В. А. – 24
 Слонимский М. Л. – 86
 Соболевский С. А. – 35

- София Баварская, принцесса
– 177, 186
Сталин И. В. – 118, 119, 140
Стендаль – 46
Степанов Ф. В. – 90
Степун М. А. – 76, 77
Степун Н. Н. – 76, 77
Степун Ф. А. – 75-77
Страдивари А. – 78
Сухомлинов М. И. – 34
- Талейран Ш. – 46
Тирш Ф. – 34
Титов В. П. – 35
Толстой Л. Н. – 14, 176
Троцкий Л. Д. – 14
Туманский В. И. – 40
Тургенев А. И. – 35, 36, 44-50
Тургенев И. С. – 106, 120
Тургенев Н. И. – 49
Турн унд Таксис, герцогиня – 65
Турн унд Таксис П. – 196
Тютчев Ф. И. – 35, 38, 45, 46,
48, 50, 63-67, 94
Тютчева Э. (Пфедфель, Дёрнберг,
вдовушка) – 46-50
- Уланова Г. С. – 105
Утесов Л. О. – 101
Уэллс Г. – 14-16
- Ф**арман А. – 19
Фасмер М. – 122
Фигнер В. Н. – 21
Фондаминский И. И. – 23
Франк Г. – 132
Франц I
(до падения Священной
римской империи Франц II)
– 55, 57, 58
Фридрих Август II
(саксонский король) – 64
- Ходасевич В. М. – 97
- Холлоши Ш. – 7
Хомяков А. С. – 45
Хубер Т. – 39, 40
Хуоси (Huosi) – 51
- Ц**вейг С. – 116
Цветаев И. В. – 177
Цветаева А. И. – 176, 177
Цветаева М. А. (Мейн) –
176, 177
Цветаева М. И. – 176, 177, 179
- Ч**аадаев П. Я. – 35, 45
Чайковский Н. В. – 28
Чайковский П. И. – 105,
170-174, 179
Чемберлен Хьюстон Стюарт
– 137
Черейский Л. А. – 35
Чернов В. М. – 17, 22
Чехов А. П. – 117
Чехов М. А. – 117
Чехова В. – 118
Чехова О. (Ада) – 117, 118
Чехова О. К. – 106, 117-119
Чичерин Б. Н. – 184
Чутко И. Э. – 24
- Ш**агинян М. С. – 77
Шатобриан Ф. – 46
Шевырев С. П. – 35, 45
Шеллинг Ф. – 34, 45, 46, 50
Шемякин М. Ф. – 36
Шиллер Ф. – 37, 188
Шиллинг П. Л. – 36
Шишкин И. И. – 90, 91
Шлегель Ф. – 46
Шморель А. Г. – 74, 104
Шнабель С. – 27
Штросс В. – 105
Шуберт Г. – 34
Шубин К. Л. – 120
Шубин О. (Киршнер Л.) – 120
Шубин Ф. – 106, 119-122

Шубины (Шубэ) – 121, 122

Шубинский В. И. – 24

Щербаков А. Ю. – 24

Эйснер К. – 87

Эльзер Г. – 143-165

Эльзер (круг родственников
и знакомых) – 143-159

Эренбург И. Л. – 36

Явленский А. Г. – 8, 105, 106

«ImWerden»
Электронная библиотека
Андрея Никитина-Перенского

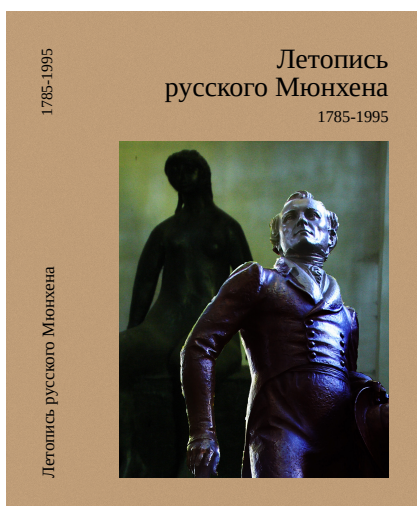
тысячи книг
и
периодических изданий
в открытом доступе

<https://imwerden.de>

Мюнхенская диаспора: 200 лет

*Библиотека и издательство ImWerden
представляют
историко-биографический справочник*

«Летопись русского Мюнхена: 1785-1995. Люди.
Факты. Цитаты». Автор-составитель Владимир
Шубин. Мюнхен: ImWerden, 2023.
ISBN : 978-1-6781-5749-4



Издание содержит сведения о шестистах выходцах из Российской империи, Советского Союза и постсоветского пространства, живших в баварской столице или посещавших ее. Оно включает биографические сведения, а также яркие высказывания о Мюнхене, из напластования которых складывается образ города как зрелищной арены русско-немецкого интеллектуального общения XIX-XX столетий.

Книга снабжена именным указателем и библиографическим разделом.

В открытом доступе — в Библиотеке ImWerden
(поиск по каталогу авторов: Шубин В.Ф.)
Издатель принимает заказы на печатные экземпляры
<https://imwerden.de>



Об авторе

Работал экскурсоводом в Ленинграде, в журнале «Искусство Ленинграда» (с 1992 ж. «Арс»), где прошел путь от рецензента до главного редактора, заместителем директора по науке в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, библиотечным сотрудником в Мюнхене. Проводит экскурсии по Мюнхену, Баварии и окрестностям.

Автор книги «Поэты пушкинского Петербурга» (Ленинград, 1985), статей и архивных публикаций по историко-культурной тематике, рассказов и мемуарных заметок, путеводителя «Прогулки по Мюнхену» (E-Book, Imwerden), автор-составитель издания «Летопись русского Мюнхена» (Мюнхен, 2022).

